84Сп6
А 67

Маргарита Анисимкова

Лицом к ветрам

Серия «Энергия мира»

Общественная
редколлегия серии:

Кожевников В. М.—
председатель
Баряев П. А.
Глебов В. С.
Лагунов К. Я.
Лутошкин Г. Д.
Нестеров И. И.
Погребной В. А
Салманов Ф. К.
Селиванов В. И.—
зам. председателя
Селиванов Ф. А.
Хворостянова Р. В.

84Сив
А67

Маргарита Анисимкова

Лицом к ветрам

Повесть

BIS NIZHNEVARTOVSK
0982231060

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1984

84Р7
А67

Рецензент Л. Слобожанинова

НИЖНЕВАРТОВСКАЯ
ЦБС
инв № 2736 1-2

А $\frac{4702010200-049}{М158(03)-84}$ 33-84

© Средне-Уральское
книжное издательство, 1984.

Моим товарищам и друзьям —
вышкомонтажникам
легендарного Самотлора
посвящаю с любовью.
Автор

Глава первая

Солнечный луч разрезал темные тучи, пробрался через узкие щели старой тесовой крыши сеновала, разбудил Юрия. Он приоткрыл один глаз, прищурился, вглядываясь в почерневшие, скоробленные временем доски. Узкие дорожки яркого света ровными полосками высвечивали на деревянном настиле осеннюю труху, запавшую между расщелин, угол с литовками и граблями, двумя заржавелыми дымокурками.

Юрий перебросил подушку в глубь сеновала, пододвинул постель. Куча прошлогоднего сена, примятого старым ватным матрацем, еще сохранила темно-зеленый цвет, но уже не шуршала, не пахла душистым клевером с Пятковского поля.

Пошарив рукой под подушкой, Юрий нащупал сухие головки пожухлых цветов, но теперь, когда он каждую ночь спал на сеновале, переломал, измолотил сухие лепестки трав своим тяжелым телом, запахи потерялись. И только в сырую погоду, когда влажный воздух обволакивал сеновал, отсыревшая труха источала терпкий запах травяного настоя.

Осторожный тягучий скрип дверных петель долетел до сеновала. Пушистый Ветерок, прихрамывая на заднюю лапу, выскочил из-под крыльца, пробежал по ступенькам и, выгнув спину, потерся возле ног в черных шерстяных носках с большими синими заплатами на пятках. «Опять по грибы собрался»,— подумал про отца Юрий, при-

поднявшись и упершись подбородком в подставленный кулак.

Отец стоял, широко расставив ноги, и из-под козырька ладони смотрел в небо, потом присел на корточки возле Ветерка, провел ладонью по спине собаки, почесал за ушами, и она, обрадованная лаской, гавкнула, завиляла хвостом.

Юрий поежился от утренней прохлады, натянул одеяло до самых глаз, намереваясь еще уснуть. Но уснуть больше не мог. Причиной тому была Маринка Журавлева, которая неделю назад с группой десятиклассников ушла на экскурсию к какому-то древнему городищу. Юрий вдруг почувствовал, что ему в селе все надоело, опостылело и он устал. «Скажи кому, засмеют. А я устал, да и все тут»,— думал он, в глубине души испугавшись своего откровения. Как-никак, а ему в апреле стукнуло уже двадцать четыре года.

Когда он возвращался домой после двух лет солдатской службы, сердце замирало от радости при встрече с родным селом, прижатым отрогами гор к шумной реке Горностайке, которая вытекала из глубоких расщелин скал. У порожистого уступа вода вскипала, с силой ударяясь о валуны, с грохотом срывалась в темную впадину, сбавляла бег и несла чистую, вкусную воду. Часто на службе, в песках возле границы, под нещадно палящим солнцем, он видел во сне Горностайку, из которой пригоршнями, захлебываясь, пил студеную воду. Он ехал домой с мыслями вполне определенными, ехал к отцу, к матери, в село, где ждала его привычная работа, а главное — жила Марина Журавлева, которая не прошла по конкурсу в институт и работала в школе пионервожатой.

В колхозе он стал работать взахлеб, находил своим рукам дело. И даже Черно-

мор — председатель, скупой на похвалу,— говорил: «И надо же парню иметь такую жадность к работе, на все руки от скуки: он тебе и на трактор сядет, он тебе и любую штуковину из железа сварит, он и косы из рук не выпустит».

И вдруг как подкосило Юрку, будто враз все силы иссякли. Какая-то незнакомая тяжесть появилась во всем теле. Он, конечно, знал, отчего ему стало так муторно, но не хотел признаваться даже самому себе: вместе с Маринкой Журавлевой к старому городищу ушел физрук школы Михаил Александрович. Парень, правда, приезжий, но, прожив в селе у всех на глазах год, не выказал никакой червоточинки в характере, да и на вид был ладный, поджарый, разве только глубокие залысины на лбу портили прическу, дак это на чей вкус.

Хорошо бы уехать на дальние угодья колхоза, где не замечаешь, как летит время, где один день наплывает на другой — только зорями с разных сторон перемигиваются. В страдную пору люди по нескольку дней живут на покосе, в азарте выкладываются из последних сил. Юрий всегда испытывал от этой работы радость, но чувствовал, что только тревожит свою силу, что она у него еще не всколыхнулась по-настоящему, таится, будто ждет своего часа. Но страдная пора прошла. На бритых косами лощинах, лугах и перелесках стояли зароды, высокие, тугие, сметанные мужиками, как спрессованные. «Сейчас там тишь,— думал Юрий, ворочаясь на сенной постели.— Разве только утки на Пяташном озере от наслаждения крякают». Он вспоминал в осоке утиные выводки, крохотных утят, которые шумно ловили озерную тину.

«Попрошу Черномора — пусть отправляет меня туда. Буду остожья ставить, лоша-

дей пасти, утрами на зарянке охотиться». Но знал, что обманывает себя, что ни на какие покосы его не пошлют, что теперь и на ближних полях дел располным-полно.

«Вот сейчас рвану через Вилисовскую присаду на городище!» Юрий изловил себя на мысли, что вся его хандра и усталость идут не от работы, а от ревности. «Надо было сразу из армии по комсомольскому набору махнуть с ребятами куда-нибудь на Север или на Дальний Восток»,— вспоминал Юрий отъезд товарищей. Он не заметил, как накатила туча, как легкий дождь зашуршал в листьях черемухи, в картофельной ботве, зашлепал редкими каплями в деревянной бочке под стоком. По крыше потекли тонкие струйки воды, и сразу потянуло сырью. То ли от мыслей, то ли от прохлады Юрия прохватил озноб.

— Пошли, Ветерок. Ранний дождь до обеда. Он только земельку вспрыснул. Он заместо росы,— громко говорил отец. Юрий снова привстал, облокотился, в расщелину между досок увидел отца. Тот, сняв фуражку, почесывал лысину, глядел на небо.— Это слепой дождичек. Слепой. Он промеж солнышком путается,— говорил отец Ветерку, который, предчувствуя прогулку по лесу, радостно повизгивал.

Глава вторая

Трава на обочине широкой лесовозной дороги блестела, высокие ветлы иван-чая буйно цвели на вырубках возле пней.

— Нюр, а Нюр! А ведь мы приехали,— шумно обрадовался Леонид, выглядывая из машины.— Вон за кедринками поворот — и наша Горностайка.

Из машины показалось сонное лицо женщины. Модный шиньон ее сбился и лежал на голове мочальным комом.

— Прибери голову-то,— посмотрев на жену, сказал Леонид.— Или убери в чемодан мочалку-то. Будто в поселке не знают, какой ты масти от роду.

Нюра в ответ пробурчала что-то, но шум мотора заглушил ее слова. Машина зыбко раскачивалась на рессорах, юлила по обочине, выбрасывала из-под колес ошметки грязи.

За поворотом дороги показался невысокий мужичок. Он стоял в стороне, смотрел на машину, приложив сухую ладонь поверх переломленного козырька солдатской фуражки, с большой берестяной пайвой за плечами, в сером пиджачке и легких кожаных бродежках.

— Сергей Афанасьевич! — обрадовался Леонид, останавливая машину.— Или не узнал?

Мужичок попятился, с минуту не отзывался, потом мелкими шажками подбежал к машине, вскрикивая:

— Неужто это ты, Левонид, а? Гляжу и признать не могу.

Мужичок мимоходом обтер руки о полы длинного пиджака, протянул обе Леониду, долго тряс ими. Из машины выскочила Нюра, стала целовать его в небритую щеку.

— Неужто это ты, Нюрка? В жисть бы не признал,— не скрывал удивления Сергей Афанасьевич.— Ну, дева, разнесло тебя. Отколь чо и взялось? — Сергей Афанасьевич стоял поодаль, приглядывался к машине, то и дело поправляя на плечах тяжелую ношу.— Порадуйте, порадуйте стариков. Теперьча редко кто в глушь едет. Все норовят на юг, к Черному морю,— улыбаясь, подмигнул он Леониду и пошел-покатился колобком по еле приметной тропке вдоль дороги.

— Ты куда это? — крикнула вслед Ню-

ра.— Садись. Не в соседнее село едем, домой.

— К вашей машине подходить-то боязно,—приостановился Сергей Афанасьевич,— такая она красавица. У нас у председателя райисполкома похуже вашей будет, и то неловко на ковровые сиденья садиться, а тут еще с этой,— показал он на пайву.

— Мы ее в багажник — и делу конец. Давай садись, не разговаривай,— настоятельно сказал Леонид, широко распахнув дверцы. Ветерок, увидев хозяина в машине, от удивления присел на задние лапы, громко тявкнул и побежал вдоль дороги. Машина тронулась. Сергей Афанасьевич цепко держался за скобку, покачиваясь. Лицо его, сухое, маленькое, исчертили глубокие, как бороздки, морщины.

— Никола-то дома? — взглянул на сосредоточенное лицо Сергея Афанасьевича Леонид.

— Робит,— ответил тот.— Все шоферит. Выпивать шибко пристрастился. Прямо спасу нет.— Сергей Афанасьевич вздохнул, провел тонкими пальцами по белесым губам.— У нас из армии Юрий пришел. Помнишь нашего меньшого-то? Все куда-то рвется. Все собирается на какие-то новостройки. Еле-еле мать уговорила. Сварщиком в совхозе робит. Техникум-то он окончил, а с институтом осечка вышла. Какие-то баллы не собрал.

Впереди, под горой, заблестела река. Показалось село с кособокими огородами. Сергей Афанасьевич приподнялся на сиденье:

— Стой, стой, Левонид. Тут по всем правилам остановиться на момент надо.— Он первый выскочил из машины, снял фуражку. То ли сделал это для поклона, то ли хотел обтереть вспотевшее лицо.

— Сколько годов-то дома не были?

— Четыре.

— Много,— сказал Сергей Афанасьевич. В его голосе, в неторопливых жестах, в легкой, зыбкой походке чувствовалась взволнованность. Была она и в сосредоточенном взгляде.

— Дом-то свой признал? — спросил он.

Леонид в ответ кивнул.

— Отец ныне крышу шифером покрыл. Поди, писал тебе. Артельно-то мы с ней в один день управились. Вон как красуется она супротив других.— Хотел было Сергей Афанасьевич еще сказать о новостройках в селе, да заметил, как взгляд Леонида заметался по скалам и по реке. «Видно, сердце зашло от радости. Пусть приуспокоится»,— подумал он и отошел к машине.

Въезжая в село, Леонид прибавил скорость. Ветерок, обгоняя машину, вспугнул пурхающихся в слегка прибитой дождичком пыли кур, дремавших в тени собак. Разбуженные собаки залаяли и побежали за машиной, вихрем промчавшейся мимо первых домов. По главной улице, выложенной булыжником, поехал тише, вглядываясь в дома и прохожих.

К отцовскому дому Леонид подъехал шумно, долго сигналил, пока в приоткрытое окно не выглянула женщина. Опершись о подоконник, прищурив глаза, она долго вглядывалась и в растерянности прошептала:

— Ленька, что ли, приехал?

Во дворе стало шумно.

— Встречай, Петр Максимович, сынка. Ишь явился какой. Глядеть любо-дорого! — говорил Сергей Афанасьевич.

«Вот тебе и Левонид Нечаев,— думал он, перебирая в сарае грибы.— Десятилетки не кончал, ремеслу не учился, а явился на собственной машине. Не из тучи гром, да и только. И на какие деньги он ее при-

обрел? На чистые трудовые, без чьей-нибудь подсобы — трудновато. Может, наш Юрка и вправду молодец, что сызнова учиться не стал? Ираида наша с дипломом, учительствует, а разве смогла бы она без нашей помощи себе доху купить или эти модные гренадерские сапоги? А Левонид — нá тебе! Четыре года — и машина своя. И Нюрка краля не краля».

Нельзя было сказать, что Сергей Афанасьевич Перевалов завидовал Нечаевым. Всю жизнь они прожили соседями, привыкли друг к другу, делились заботами, радостями, а в военную пору — последним куском хлеба. И ребята росли, как свои. Но то, что Леонид приехал в село на собственной машине, вызвало в нем тревогу. «Все рóвно жили — ухо в ухо, а тут Нечаевы нас перешагнули,— думал он.— Петр-то Максимович мужик скромный, а уж Капитолина Ивановна ох пофорсит — позлит поселковских баб. Это она умеет. Да пусть тешится, лишь бы Левонид машину-то честным трудом заработал».

Приезд Леонида Нечаева остался бы в селе незамеченным, не явись он на собственной машине. Собралась бы родня, соседи. Попили, поели, попели песни и разошлись по домам. Машина же взбудоражила все село.

Сельсоветовская рассыльная Зинка, забежав к Переваловым, с порога затараторила:

— Нюрка-то, Нюрка-то. Откуда только чо и взялось? Вышагивает, под ногами землю не видит. Кустюм кримпленовый, туфли лакированные, прическу заварганила — еле на голове держит. Я прохожу мимо и кричу: «Здорово, Нюра! Коров-то еще не разучилась доить?» А она повела этак в мою сторону голову и сама всем телом повернулась.— Зинка подбоченилась, обернулась

вокруг себя, откинув и одновременно втянув голову в тонкие плечи, передразнивая Нюру.— На каких таких хлебах живешь? — спрашиваю.— Если так будет, то у тебя через годик-другой собственной кожи не хватит».

— Шибко ты много знаешь,— одернул ее Сергей Афанасьевич.— Много увидела.

— И увидела,— не сдавалась Зинка.— Ленька-то целый ящик заграничного вина привез. На етикетке баба, негритянка черная сидит. Плечи голые. Ром какой-то. А потом на машине в сельмаг скатал да шампанского целый ящик купил. Это, говорит, женщинам. Вот вам и Леонид Нечаев. Видать, где-то на золотую жилу напал.

— Не мели. Какая еще золотая жила? Откуль взяла такое? — усомнился Сергей Афанасьевич.

— Сама придумала. Ну ты сам посуди: отколь сэстолько денег? Никак тут не обойтись без золотой жилы.

Зинка тут же убежала, а слова ее еще больше укрепили мысли Сергея Афанасьевича, что так легко и просто машину купить Леонид не мог. «Все одно выведаю. Быть может, с ним какая-нибудь беда стряслась?» — думал он, собираясь к Нечаевым в гости.

В избе Нечаевых народу полно. Чадный дым от папирос и крепкого самосада ударил в нос с порога. В передней горнице во всю ее длину расставлено несколько столов. Вдоль них вместо стульев и табуреток — застланные половиками сухие плахи, чтобы больше село за стол гостей. На полке неистово визжал магнитофон. Примостившись на краешке стула, закрыв глаза, наяривал плясовую порядком захмелевший сельский гармонист Колька Чеботарев.

— Эко народищу-то,— сказал Сергей Афанасьевич, пробираясь боком к столу.— Забыл давеча узнать: сына-то своего куда девали? — мимоходом спросил он разрумянившуюся Нюру.

— Путевку ему к Черному морю достали,— весело ответила она.— Сами ничего не видели, пусть хоть он посмотрит.

Сергей Афанасьевич закашлялся, не найдя для ответа подходящих слов.

В переднем углу громко тянули:

Потеряла я колечко-о!
Эх, да потеряла я любовь! —

подхватил Сергей Афанасьевич, отыскивая взглядом Леонида.

— Штрафной ему, штрафной! — кричал повеселевший Петр Максимович, наливая в стакан вина из высокой черной бутылки.

— Это же ром. Его рюмочками пьют! — крикнула через стол Нюра.— Градусов в нем много.

— Нас не сшибешь,— Сергей Афанасьевич поднес стакан к губам, понюхал, пошевелил широкими ноздрями: — Дух в нем какой-то чужой,— сказал он с придыхом, широко раскрывая рот. Готовясь, большим носовым платком вытер губы, искоса поглядел на Леонида.

Разморенный домашним теплом, сбросивший с души напряжение, Леонид сидел за столом облокотясь, большой чуб светлых волос упал на глаза, выказывая лысеющую макушку. С плеч сползли узорчатые подтяжки, съехал в сторону модный галстук.

Сергей Афанасьевич оглянулся по сторонам, ткнул Леонида в бок и уставил хитрый, прищуренный глаз.

— Чего? — устало спросил Леонид, сгребая со лба волосы.

— Ты мне начистоту выкладывай все! Как на духу говори.

— Ты это про что? — удивился Леонид, приподнимая голову.

— Рассказывай, как сумел так скоро машину приобрести. Смухлевал где?

— Ты что, сдурел? — прохрипел Леонид, пытаясь встать.

— Так будто и не смухлевал? — сверля Леонида взглядом, одними губами говорил Сергей Афанасьевич.

— Да ты знаешь, где я работаю? В Сибири! Вышкомонтажником!

— Экое долгое слово,— в сомнении почесывал за ухом Сергей Афанасьевич.— За какую такую работу экие сумасшедшие деньги платят?

— За строительство буровых вышек, понятно?!

— Ты там в начальниках ходишь? Али как? — будто допрашивал его Сергей Афанасьевич, не вставая с табуретки.

— Был начальником. Ну не начальником, а мастером, а теперь убрали.

— Как так?

— А так. Говорят, образования маловато. Когда первыми начинали, про образование никто не спрашивал, все торопили: давай-давай! И мы строили. И тащили вышки через болота. А теперь выкладывай корочки. А у меня где они? Ты сам знаешь! Только и есть что права шоферские.— Леонид достал из кармана носовой платок, стал шумно сморкаться.— Да я и шофером пойду. Получать меньше не буду. Только обида берет. Бригадой руководил, а теперь иди в рядовые.

— Лень, а Леня! — на другом конце стола встревожилась Нюра.— Ты же про то сказывать не хотел.

Леонид махнул рукой.

— Простым вышкарем не пойду. Лучше уеду из такого гнилого края.

— Заработки, видно, у этих вышкарей

большие? — не сдавался Сергей Афанасьевич, стараясь довести разговор до конца.

— Если не лениться, навару много бывает. Там и коэффициент, и северные, и премиальные, и грязевые, и за ускорение платят. На один кусок много масла кладут, если план выполняем.

— И за грязь платят?

— А ты как думал? Иди-ка осенью поползай по строительной площадке. К концу смены на тебе места сухого не найти. Вот посылай своего Юрку. Он напишет потом. А сварщики нам во как нужны! — Леонид махнул ладонью около подбородка. В ответ Сергей Афанасьевич фыркнул, будто к носу ему поднесли нюхательного табаку, и шумно вскочил с табуретки.

— Чего? — Леонид потянул его за подол сатиновой рубахи.— Не поглянулось? А там, между прочим, только молодым и жить. Общага завсегда будет, а остальное все приложится.

— Ишь как все расписал. Сам удирать собрался, а Юрка — поезжай!

— Так у Юрки вашего диплом в кармане. Ему — не моя забота. Взял карандаш и чик-чирик! Все готово! А я только вершки насшибал, а в глубину дела мне не добраться. Пошли всякие чертежи, новая технология. А у меня в кармане вместо диплома... Э, да что там...

— Сергей Афанасьевич! — прервала разговор громогласная Степанида.— Хватит из человека душу вынимать. Давай сюда песни петь.

Гармонист Колька Чеботарев подхватил Сергея Афанасьевича под мышки, приподнял с табуретки, отвел в дальний угол.

По дороге домой Сергей Афанасьевич запинался за каждую травинку и щепку. Он не то чтобы опьянел так сильно, что не мог

идти. Он просто притворялся, имея свой умысел. Бывало в его жизни покрепче выпито, когда все тело раскачивало из стороны в сторону, подкашивались в коленях ноги. По утрам приходилось каяться, открещиваться от зелья. Сегодня на него напало какое-то озорство: выскочили наружу старые-престарые потехи, и он, на диво всем, плясал трепака с такими вывертами и коленцами, что гармонист Колька Чеботарев взмолился. А Сергей Афанасьевич уже показывал глухариную песню. Присев на корточки, растопырив пальцы запрокинутых за спину рук, он быстро и яростно хлопал ими, громко прищелкивал языком, вытянув худую, пожелтевшую шею, на которой ясно вырисовывался тонкий багровый рубец. Ободок темных волос от уха до уха взъерошился, приподнялся над воротом рубашки.

— Качать его! Качать! — кричал Леонид, выбегая в круг, поправляя на плечах подтяжки.— Ай да Сергей Афанасьевич! Всех за пояс заткнул! У нас, вышкомонтажников, за всякую победу человека к небу подбрасывают.

— И когда успел наглотаться? Все сидел, как огурчик,— удивлялась вслух Татьяна Потаповна, подставляя Сергею Афанасьевичу плечо, когда он грохнулся у порога на скрипучую кровать. Она ругала его разными обидными словами, стаскивала с ног хромовые сапоги, хлестала шерстяным носком по чему попало. Сергей Афанасьевич для порядка что-то пробормотал, отвернулся к стенке и тут же стих.

С улицы доносились громкие веселые голоса, лаяли встревоженные собаки, надрывно и заливисто играла на другом конце села гармошка. Сергей Афанасьевич сполз с кровати, осторожно, на цыпочках пошел в комнату Ираиды. Нашел на полке толстый

словарь тысяча девятьсот шестьдесят четвертого года издания, в котором все искали непонятные слова, и, шмыгнув на кухню, прижался спиной к русской печи. На приступке нашел огарок свечи, зажег, долго натягивал узкий шнурочек очков за ухо. Послюнявил палец и стал осторожно перелистывать страницы, искать непривычное слово — вышкомонтажник. Нашел «вышку». «Нет, не про то говорил Левонид. Врет, окаянный, про вышкомонтажную специальность, а я уши развесил,— подумал Сергей Афанасьевич, закрывая словарь.— Раз нет такого слова в этой книжке, значит, и специальности такой нет. Поди, их ученые люди составляют, пограмотнее Левонида Нечаева. Погляжу еще на букву «мы». Если и там не найду, утром пойду и настыжу его. Выдумал еще на старости лет меня за нос водить! «Мон-таж-ник»,— нашел он в словаре. «Монтаж». «Монтировать, строить». Пожалуй, подходит. Сергей Афанасьевич положил на колени словарь и облегченно вздохнул: «Есть все-таки такая специальность».

В тишине послышались шаги. Он вмиг положил книгу на табуретку, сел на нее...

Глава третья

Сергей Афанасьевич сидел на крыльце в рубахе навыпуск, поставив босые ноги в траву, с которой не ушла еще ночная прохлада. Крохотные цыплята, выбежав из-под крыльца, пищали. Один, беленький с черненьким пятнышком на боку, взобрался ему на ногу и стал клевать темную жилку остреньким клювом.

Яркие одуванчики выставляли из-под досок и плах огненные головки, куры лакомились вспухшими листочками пастушьей сум-

ки. Петух, как назло, взлетел на нечаевский забор, заорал во все горло, будто нарочно будил соседей.

Сергей Афанасьевич морщился, сплевывал с губ горечь: мучила изжога от заграничного вина. Вчерашний разговор с Леонидом Нечаевым вспоминался обрывками. Но стоило во дворе появиться Юрию, как каждое сказанное вечером слово выплывало из памяти, будто специально адресованное его сыну. Он посмотрел в сторону Юрия и против своего хотения подумал: «Захиреет парень, если живого дела не будет. При этакой силе только землю поднимать, только горы ворочать, а он подле колхозных доярок да птичниц околачивается. То решетки приваривает, то трубы перерезает, то на заказ покойникам оградки варит. В огонь его надо пускать».— Сергей Афанасьевич быстро вскочил, испугавшись своих мыслей, заторопился в избу.

— Здорово гульнули? — услышал сзади голос Юрия.

— Было дело. Заграничного рому испробовали. Не пондравилось,— скороговоркой выпалил он, лениво потянулся, разбросав в стороны руки. Треском сухой лучины щелкнули суставы локтей.— Корежит меня от этого угощения.

— Откуда Леонид приехал? — спросил Юрий.— Что он машину купил и сколько она стоит — все знают, а откуда приехал — никто.

— Да из Сибири. Я его про это первонаперво спросил. Он даже мне озеро называл, доподлинное место, да я запамятовал,— сказал Сергей Афанасьевич.

— Самозерское?

— Ну ясно, оно. А откуль ты про него знаешь?

— Про это озеро не только я, а во всем мире знают. Большая нефть там.

— Ну-ну. Ишь куда Левонид угодил. В самую сердцевину дела. Не из тучи гром, да и только,— пробурчал Сергей Афанасьевич и, прищурившись, взглянул на сына.

— Увидеть бы его надо,— сказал Юрий.

— А нашто он тебе? Не ровесники вы с ним, не погодки.— Сергей Афанасьевич понимал, что говорит пустое, что этими словами выдает свое волнение, и, рассердившись на себя, схватил с крыльца березовый голик, бросил к забору, чтобы вспугнуть оравшего петуха.— Ясное дело, дома Левонид. Поди, спит беспробудным сном. С дороги да после такой гулянки.

Но Леонид не спал. Выработавшаяся в последние годы привычка вставать рано, чтобы успеть на вахтовый автобус, стала такой же необходимостью, как вовремя есть и спать. Теперь, когда ему некуда было торопиться, он лежал с открытыми глазами, рассматривал цветастую занавеску над полатями. Он мог безошибочно сказать, что там, в углу, лежит узелок нетребленной овечьей шерсти, корзины с луком и чесноком, темно-коричневый берестяной туесок с солью и старая отцовская борчатка, на которой всегда было тепло спать, спрятав босые ноги в широкие косматые рукава.

Громким храпом напомнила о себе Нюра. Прикрыв одеялом ее плечи, Леонид встал.

— Ты чего в такую рань? — шепотом спросил Петр Максимович, скручивая над кисетом козью ножку.

— Пойду в огород, погляжу на гряды. У нас там леса да болота, болота да леса.

— И картошка не родится?

— Может, и родится, да заниматься ей некогда. Не до картошки. Не затем туда люди едут.

В глубоких бороздах между гряд стоя-

ла вода. Буйная ботва набрала силу после дождей, дружно цвела. На грядке лежали, как в связке бус, зеленые катышки. Леонид сорвал их. Запахло горьковатым настоем, который напомнил детство. Широко расставив на меже ноги, он размахнулся и бросил катышок вдаль.

— Разучился,— услышал голос сзади. Возле городьбы стоял рослый парень. Высоко остриженные темные волосы обнажили загорелую шею.

— Никак, Юрий? — спросил Леонид.

— Он самый.— Парень оперся ладонью о жердь, вмиг перемахнул через городьбу.

— Горазд вымахал. Отец тебе, поди, до пупа будет,— сказал Леонид, стараясь отыскать в парне переваловские черты.— Вот время летит. Помнишь, как ты в лесу заблудился? Тогда я тебя на руках притащил, а теперь попробуй подступись к этакому детине.

Они шли по меже, пугая в траве притихших кузнечиков.

— У вас тут тишь да тишь. На что вчера суматошный день был, а мне воскресеньем показался. Тихо. А у нас страсть! По десять тысяч машин на одну Самозерскую дорогу выходит.

Юрий достал из кармана свернутый вдвое журнал «Смена».

— Надо же! — радостно удивился Леонид.— Ведь это Виктор Катаев со своей бригадой, а это поэтажная буровая на озерном «кусте». Наша бригада строила эту буровую. Восемьдесят третья должна быть.— Леонид улыбался, рассматривая снимок в журнале, теребил на лбу прядку волос.— Да я с этим Виктором пуд соли съел. Только из-за этой буровой с ним сто раз ругались и еще больше мирились. Это же экспериментальная буровая. Она построена на льду да в три этажа. Знаешь, сколько было

мороки,— говорил Леонид, присаживаясь возле городьбы.— Строим, строим, и опять какой-нибудь «арбуз» выкатится. Технология новая. Я на этой буровой каждый переход знаю, каждый блок. Все решительно. А теперь вот они на ней работают, рекорды ставят, на всю страну известны.

При этих словах глаза Леонида светились, и казалось, что был он в эти минуты там, на своей единственной буровой, на знаменитом Самозерском месторождении.

— Ну-ка, почитай, Юра,— попросил Леонид.— Там про нас, про вышкомонтажников, ничего не написано?

Юрий просмотрел текст, покачал головой. Заметил, как Леонид стих, потупил взгляд.

— И всегда так. Никакой справедливости. Идем самые первые. Груз в сотни тонн за собой тащим. Обживем площадку, смонтируем буровую до последнего болтика, а потом про нас ни слова,— говорил он.— Про буровиков все уши прожужжали, а про нас молчок. А подумали бы: что они стоят без вышкарей? Не построим вышку — хана! Сразу застопорится у них все дело... А вышка красивая получилась.— Леонид снова взял журнал, стал вглядываться в лица буровиков.— Вон Ахмед смеется.— уже спокойнее говорил он.— Смотри-ка, а там ведь наш прораб Солнышко. Смотри, Юрий. Вон он, в каске.

Леонид замолчал. Такой, казалось бы, обыденный разговор встревожил Юрия. Он вдруг показался сам себе каким-то никчемным человеком. «Уеду. Вот возьму у Леонида адрес и уеду на это Самозерское месторождение»,— решил твердо.

Первым о его окончательном решении уехать узнал председатель колхоза.

— Я-то думал: замену себе нашел,— сказал он. В голосе его Юрий не уловил

строгости. Слова Черномора были вялыми, глухими, какие бывают у человека, когда его застают врасплох. Он и в самом деле был словно оглушен этой новостью, не смог сразу отказать Юрию, не попробовал уговорить его остаться, о чем потом очень жалел.

Зато Сергей Афанасьевич сразу заметил перемену в сыне и ждал, когда у них состоится разговор начистоту.

— Ты мне скажи перво-наперво, с какими мыслями собираешься уезжать? — спросил он Юрия сразу, как только тот позвал его в сарай.— Если Левонидова машина тебя сомустила, то скажу тебе — дело это худое. Ехать в такую даль, чтобы хребтину себе ломать, а чего хуже — ловчить там по-всячески ради ее, прямо скажу — дело поганое.— Сергей Афанасьевич подтянул потуже ремень, присел на чурбанчик. Юрий молчал.— Если человек не знает, чего ему надо, это уж вовсе никудышное дело. Непочо ехать и славу занимать. Будешь там, как навоз в проруби,— куда течение потащит, туда и поплывешь. А у человека, как бы это тебе сказать? — Сергей Афанасьевич закурил.— У каждого человека своя планида должна быть. И чтобы она, эта планида, не одного тебя грела, а чтобы краешек ее тепла всем, кто рядом с тобой живет, достался.— Он высморкался, достал из серых, залатанных на коленях брюк большой носовой платок, долго вытирал им нос, губы, руки.

Никогда за всю свою жизнь Юрий не слышал, чтобы отец говорил кому-нибудь такие слова.

— Работать поеду,— ответил Юрий.

— Работы везде полно. Работа работе — рознь.

— Ты же знаешь, про какую работу я говорю. Чего еще пытаешь? — Юрий дога-

дался, что отец хотел услышать от него заверения, что будет жить по-путнему и им, родителям, не придется за него краснеть и беспокоиться, но слов подходящих не находилось.

— Раз надумал — поезжай. Ни на кого не гляди. Только, смотри, про мать не забывай.— Сергей Афанасьевич быстро встал, снова поддернул ремень на поясе, похлопал Юрия по плечу и вышел из сарая.

Весть, что Юрий Перевалов надумал поехать в Сибирь, вмиг облетела село. Пошли разные разговоры, пересуды. Одни хвалили Юрия, что он найдет себе работу по душе, другие жалели, что из села уезжает еще один хороший парень, но большая половина твердила одно: заела зависть самого Сергея Афанасьевича, он и посылает парня к черту на кулички, лишь бы утереть Нечаевым нос.

На самом же деле в доме Переваловых был полный переполох. Татьяна Потаповна слегла, не переставала пить валериановые капли, прикладывала холодную тряпку ко лбу, боясь прилива крови к голове и удара от волнения. Сергей Афанасьевич молчал, терпеливо сносил упреки.

— Сам, сам ему слободу дал. Все молчишь, все потакаешь. Нет чтобы крепкое родительское слово сказать, так только поглядываешь,— сквозь слезы говорила мать.

— Парень работать поехал, а ей печаль,— бурчал Сергей Афанасьевич, не находя для успокоения жены подходящих слов.

— Какая мне радость от его работы? — плакала Татьяна Потаповна, шаря рукой под подушкой, отыскивая платок.— Может, и вправду, тебя Левонидова машина из рассудка вышибла?

— Ты, Татьяна, мое терпение не испытывай. Чушь разную не мели! А раз собрал-

ся парень ехать — пусть едет. Не больно много у матери под подолом высидит. Работа людей не портит.

— Зато деньги портят да вино,— не сдавалась она. Слезы бежали по щекам. Она не вытирала их.

Сергей Афанасьевич, растревоженный ее словами, присел на краешек кровати.

— В случае чего сразу телеграммой вытребуем домой. Это ведь не армия, а его добрая воля.— Он поправил ладонью скатившиеся ей на лоб волосы, убрал тряпку.— Ладно, перестань. Вон и они идут.

— Значит, так, Юрий,— громко говорил Леонид, перешагивая через порог,— как прилетишь в Самозерье, а рейс у тебя хороший, самолет доставит засветло,— сразу на городской автобус. Кондукторша назовет остановку ВМУ — это значит: вышкомонтажное управление. Выходи. Через дорогу увидишь проходную и машины. В глубине двухэтажный дом, выкрашенный в зеленый цвет. Это и есть управление. Начальник наш Братцев. Человек строгий, людей с первого взгляда распознает. Я ему записку черкну. Мы, правда, расстались с ним не больно любезно, но ничего. Это все по работе.

Леонид похлопал широкой ладонью по карманам, вытащил помятый блокнот, рассевшись за столом, стал писать. Писал долго, сосредоточенно, несколько раз комкал в кулаке исписанные листки, совал их в карманы.

— Когда хоть поезд-то уходит? — слабым голосом спросила Татьяна Потаповна и, покачиваясь, пошла в кухню.— Сгори эта твоя машина синим огнем,— говорила она Леониду, всхлипывая.

Леонид с недоумением и испугом пожал плечами при этих словах, и было понятно: не мог он поступить иначе, делает

все от души, без утайки, не желая ее сыну ничего плохого.

— Ну не понравится, так вернется. Силой никто держать не будет. Только работа там, скажу честно, затягивает,— говорил Леонид, сидя возле стола вполоборота, стараясь не смотреть в сторону Татьяны Потаповны. Вдруг с порога донесся голос Николы. Явившись навеселе, он достал из внутреннего кармана пиджака бутылку, поставил на середину стола, торжественно произнес:

— Без возражений, мать. Чтобы все было чинно и благородно, по русскому обычаю. Как-никак проводины. Брат родной у меня один-разъединственный. Поехал осваивать Сибирь-матушку.

— Засобирал опять околесицу, замолол языком,— прикрикнула с кухни Татьяна Потаповна.

— Вот какой неожиданный поворот в судьбе бывает, а? — похлопывая Юрия по плечу, говорил брат тоскливо.— Рисково больно, но здорово! Характер надо иметь. Волю надо иметь. Я, Юрий, супротив тебя — хлюпик.

С улицы послышался сигнал машины. Татьяна Потаповна, оглянувшись, остолбенела, несколько раз махнула рукой в сторону окна. За рулем торжественно сидела Нюра, подавая протяжные гудки.

— Ей-богу, не из тучи гром,— вымолвил Сергей Афанасьевич, с изумлением посмотрев в окно. На несколько секунд замер, упершись руками в крашеный подоконник.— Поторапливайтесь.

Поезд тронулся. Тихо пополз мимо низеньких домиков, складов, сараев. Юрий, одетый по-солдатски, стоя на ступеньке, смотрел на извилистую дорогу, убегающую

в горы. Вдруг он увидел, что с большого камня кто-то машет рукой. «Маринка!» — крикнул он, но поезд, набирая скорость, оставил всех за поворотом.

Глава четвертая

В купе никого не оказалось, и Юрий, присев на широкую темно-коричневую лавку, облегченно вздохнул. Именно в эти минуты ему хотелось побыть одному. За окном мелькали деревья, столбы, низенькие стожки сена. Потом перед глазами зарябило, все слилось в одну темную полосу. Поезд набирал скорость. Стучали колеса, старый, довоенного образца, вагон зыбко покачивало. Юрий, прижавшись спиной к стене, сидел, закрыв глаза и какое-то время не в силах сосредоточиться. Неожиданно пришла мысль о дороге, которую построили в годы войны для вывозки марганцевой руды. Будто промелькнуло перед глазами село с затерянными в скалистых увалах шахтами. Вспомнился рассказ, как мобилизованные на войну сельчане шли пешими до районного центра, потому что грунтовая дорога после дождей расквасилась и по ней не могла проехать ни одна телега, и еще про то, как тетка Оня, в ту пору здоровая и сильная, на глазах у всех перенесла своего мужа Андрюшу через широкую лужу, чтобы он не замочил ноги, потом поставила его на пень срубленного дерева и долго целовала, обливаясь слезами и приговаривая: «Все пули пролетайте, Андрюшеньку не троньте!» Об этом люди вроде забыли, не до просмешек было в грозную военную пору. А как прошла война, вернулся Андрюша Прохоров домой, все сразу вспомнили. С войны он вернулся вроде совсем маленьким. Если при-

кинуть на глаз, то винтовка должна быть побольше его, но на глазок нетрудно ошибиться. После войны у Андрюши смелость появилась и, как стали утверждать все, характер испортился. Тетка Оня по-прежнему слушалась его, старалась при людях не уронить мужское достоинство. Когда в ограде слышался писклявый голос Андрюши: «Оньша! Я кому говорю — иди сюда!» — знали: тетке Оне надо подойти к углу, где стояла низенькая табуретка. Она подходила, вставала возле нее и только тогда была с ним вровень. Встретившись с женой взглядом, Андрюша добрел и, шлепнув ее по щеке раз-другой, спрыгивал с табуретки. А тетка Оня по секрету рассказала Юркиной матери, что удары у Андрюши стали сильными и меткими. Однажды он так огрел ее, что она еле устояла на ногах. С тех пор больше не подходит к табуретке. Покричит-покричит Андрюша, на том и останется.

Юрий хмыкнул, представив самого крохотного мужичка в селе, а главное — всегда удивлялся тому, что воевал Андрей Прохоров на Курской дуге, имеет два ордена, о чем не раз писала районная газета.

Проводница вошла в купе с пачкой постельного белья. Юрий молча полез в карман, подал металлический рубль, расстелил постель, но уснуть не мог: ворочался с боку на бок, все его воображение было занято дорогой, по которой он едет: разнеженно мается на белых простынях, а сельские мужики на войну шли по вязкой грязи, оставляя на обочинах дороги следы старых сыромятных бродней.

Воспоминания о сельских мужиках както исподволь укрепляли мысль, что все под силу человеку.

В аэропорту Юрий узнал, что вылеты на Самозерье из-за непогоды откладывались

уже три дня. Пассажиров скопилось множество. В камерах хранения не было ни одного свободного места. Большие рюкзаки, ящики, коробки, чемоданы расставлены на полу вкривь и вкось вдоль стен. Между ними на постелях из отцовских пиджаков и курток спали малыши. Несмолкающий говор приглушенных голосов будто не касался их чуткого детского слуха. При этом они умели еще видеть сны, улыбаться в сладкой дреме, потягиваться и чмокать розовыми губами, словно все еще сосали материнскую грудь и боялись расстаться с вкусной капелькой теплого молока. Матери, совсем молоденькие, сидели возле своих ребятишек и вещей, смотрели вокруг тревожно-испуганными глазами, по-настоящему не веря в превратности сибирской погоды, с минуты на минуту ждали вылетов, но их не было.

Казалось, весь большой зал покачивается на морской зыби, люди, проталкиваясь вперед, то терялись за спинами друг друга, то выныривали с боков. Трудно было понять, кто куда лезет, кто кого ищет.

Юрий стоял у двери, смотрел на невообразимую толчею и не знал, с какой стороны пробраться к справочному бюро. Он понимал, что надо снять рюкзак, протолкнуться в гущу народа и пустить в ход локти, но делать этого ему не хотелось. С полчаса он простоял, прижавшись к стене, разглядывал зал. Во всем была тоскливость и серость. Он посмотрел в окно. На вечернем небе ползали темные тучи, тусклый свет в широких окнах зала не освещал противоположной стороны, а ютился возле рам, вырисовывая черные переплеты. «Темнеет»,— подумал про себя, но именно в это время в глубине промелькнул красный берет. Юрий повеселел: он сразу нашел отгадку серости зала — в толчее не было жен-

щин, не хватало нарядной пестроты их головных уборов. Ему захотелось увидеть лицо этой женщины. Он привстал на цыпочки, но красный берет мелькал уже в дальнем углу зала.

Ни с того ни с сего вдруг разнесся басовито-раскатистый напев. Все обернулись, сразу стало тихо. Подняв голову, Юрий увидел парня, сидевшего на пожарной лестнице. Заметив, что все обратили внимание на его персону, он стал неторопливо спускаться, крепко цепляясь пальцами за металлические перекладины, и остался сидеть на нижних. Голос, красивый и сочный, без единой фальшивой ноты, летел по залу. Поющий знал, что на него смотрят, сидел горделиво, артистично покачивал головой.

— Опять Михаил,— послышался голос сзади Юрия.— И как не устал? — Но Юрий обрадовался песне, потому что среди озабоченных, рассерженных людей нашелся человек, у которого было радостно на душе.

Спрыгнув с последней ступеньки, парень пошатнулся. Песня на миг оборвалась, но, поднявшись, он словно подхватил ее на лету и допел, поправляя на голове вьющиеся русые волосы. Был он высокого роста, широк в плечах. На лице сохранился летний загар, сверкали ровные белые зубы. Стоило Михаилу сделать шаг, как люди тут же расступались. Это смутило его, но вдруг с какой-то необузданной яростью он рванулся вперед, запинаясь, будто его кто-то толкнул в спину. Большой красный шарф колыхнулся на шее. Михаил встряхнул головой, как лихой гармонист, кивком отбросил со лба волосы, громко, с вызовом запел:

Ох, по Сибири я шатался,
Брюки с напуском носил,

У молоденькой девчонки
Христа ради попросил!

Он пел, глядя поверх голов, ни на ком не останавливая взгляда из-под густых нависших бровей. Любопытный взгляд Юрия не остался не замечен Михаилом. Проходя мимо, он приподнял голову, перевел дух и еле заметно подмигнул. Было в его лихом подмигивании что-то тоскливо-трогательное. Юрий ответил ему кивком. По всей видимости, этот знак внимания тронул Михаила, он приостановился, но тут же сделал пренебрежительный жест, проронив: «Не стоит!» — и пошел дальше.

Снова в зале послышалось гудение людских голосов. Вскинув рюкзак на плечи, Юрий вышел на крыльцо. Влажный, прохладный ветер сполоснул лицо, смахнул затхлый запах зала.

Сгущавшиеся на небе тучи предвещали непогоду, и как бы в подтверждение этому на широкие ступеньки бетонного крыльца шлепнуло несколько крупных капель.

— Этого только не хватало! — вырвалось у парня, стоявшего рядом.

— Он не надолго. Слепой дождь! — ответил Юрий отцовскими словами, стараясь успокоить парня.

— При чем тут слепой? Тут как зарядит, так чистого неба и с овчинку не увидишь.— Затягиваясь папиросным дымом, парень умолк, сосредоточенно изучая предвечернее небо с темными, неспокойными облаками.

— Три дня сидим тут как проклятые! — буркнул он, отбрасывая папиросу в переполненную окурками урну.

— Погода вроде летная,— ответил Юрий.

— Тут летная, а там, на Самозерье? Видно, впервые летишь?

— Ага,— ответил Юрий, но ему не хотелось разговаривать.

Парень ежился, пожимал плечами, небрежно плевал в сторону. По всем этим жестам нетрудно было догадаться, что ничего хорошего о Самозерье он не скажет. Не было в его взгляде той радости, которая живет в человеке в предвкушении желанной встречи.

На крыльце возле хлипкого парня собралась толпа. Он сидел, облокотившись на брезентовый вещевой мешок. Лицо у него было маленькое, усохшее, как у старика. Под глазами синеватые мешки, жиденькие рыжеватые усики прикрывали кривившиеся при разговоре губы. Прищуренным глазом он смотрел в образовавшуюся между большим и скрюченным указательным пальцем щелку.

— Во какие комарики на Самозерье. Полюбуйтесь!

Парни присели перед ним на корточки.

— Загибаешь,— сказал кто-то.— Сузь немного. Тут не комар — навозный жук пролетит.

— Так комары-то самозерские особенные.

— Кончай травить! — прикрикнул проходивший мимо мужчина.

— Так я же людское любопытство удовлетворяю,— расплылся в улыбке парень.

— Сам-то бывал там?

— Я-а-а-а-а? — обиделся рассказчик и с силой ткнул себя пальцем в грудь.

— Кишка у тебя тонка для Самозерья. Комарики таких с потрохами сгложут!

Интерес к парню сразу схлынул, окружившие его ребята разошлись, он остался один возле брезентового мешка.

— С кренделями вас там ждут — шире рот разевайте! — крикнул, сам не зная кому.— Ты поди-ка тоже на Самозерье лыжи навострил? — обратился он к Юрию, но, не получив ответа, продолжал: — Гово-

рят же вам, гиблое там место! Только здоровье губить.— Губы у парня скривились в злой усмешке. В уголках белели капельки запекшейся слюны.

— Тоже мне советчик,— в сердцах ответил Юрий, не желая ввязываться в разговор, потому что и без того начинала злить бессмысленная толкотня, неопределенность и исподволь появлялось желание плюнуть на все, уйти на железнодорожный вокзал и уехать куда-нибудь на Восток, где всегда не хватает рабочих рук.

В это самое время поднялся невообразимый шум и гвалт. Подхваченная известием о начале регистрации билетов на Самозерье к стойке бросилась толпа. Сотни рук с зеленоватыми бумажками мелькали в воздухе. Парни кричали наперебой, называли девушку-регистраторшу милашкой, голубушкой, зазнобушкой, сестренкой, а она испуганно смотрела на всех, спрятав руки за спину, словно боялась, что ее схватят и бросят в толпу. Скоро на помощь пришли трое служащих аэропорта. Четко и разборчиво заговорил репродуктор, призывая всех к соблюдению порядка. На Самозерье отправляли сразу несколько самолетов.

Юрия охватило беспокойное чувство. Оно не проходило и тогда, когда, обгоняя других, он бежал на посадку и когда взбирался по трапу в самолет. Он успокоился, только когда самолет поднялся в воздух.

Припав лбом к холодному стеклу иллюминатора, он как прилип, не находя в себе силы оторвать от земли взгляда. Легкая дымка тумана обволакивала необозримый простор. Она плыла, раскачивалась, приоткрывала взгорки лесов, крыши редких охотничьих избушек, высокие стога сена.

Вскоре самолет вошел в облака. Белая, непроглядная стена туч плотной шторой занавесила окно, и Юрий откинулся на мяг-

кую спинку кресла. В голове стоял гул, в ушах защекотало. На громкий голос стюардессы не открыл глаз, а, прислушиваясь, пытался представить ее. Она казалась ему высокой, с красивой прической светлых волос, с обязательно подкрашенными веками. Чтобы не разочароваться в своем представлении о хозяйке салона, он медленно приоткрыл глаза и сразу встретился с внимательным взглядом. Стюардесса стояла возле кресла с темно-зеленым пакетом в руке. «Вам плохо?» — спросила. Юрий потряс головой, пожал плечами, хотя и чувствовал себя неловко. Не мог же он пожаловаться девушке на неприятную тошноту, которая все время подкатывала к горлу. Позже, когда ему придется полетать по сибирским просторам на разных винтокрылых машинах, он еще не раз вспомнит и внимательную стюардессу, и гигиенический пакет. А в свой первый трехчасовой перелет, как мог, крепился, сидел с закрытыми глазами, прислушивался к гулу мотора.

Вспомнился день, когда он (уже не маленький!) впервые близко увидел самолет. Это было в разгар лета, когда над тайгой стоит жара и в разных местах появляются лесные пожары. Самолеты облетали лесные урочища. Конечно, они не делали посадку в их селе, а только пролетали, и всегда оставалось неизвестным, кто первым замечал их в небе. На улицу выходили все жители села, обшаривали взглядом небо. Самолет, похожий на маленькую птаху, часто пропадал в облаках и выныривал не в том месте, где его ждали. Когда самолет терялся из виду, Юрий со своим другом Генкой бежали к скалам, взбирались на самую высокую вершину и сидели там до самого поздна.

— Конечно, небо большое,— вздыхая, Генка вставал на валун и, засунув пальцы

в рот, начинал свистеть. Свист летел по увалам раскатистым эхом, отзывался в темном лесу, ухал над рекой. Потом наступала тишина, и они, притаившись, прислушивались к щебету птиц, гнездившихся на скалистых откосах. Они знали, что среди расщелин скал живут маленькие серенькие птички каменки. Встревоженные их появлением, птицы посвистывали по-особенному, летали кругами над кустарниками. Облюбовав с высоты камушки, на мгновение садились; упираясь в кромку тонкими лапками, будто выдавливали из себя писк, на который отвечали подружки. Потом, собравшись стайкой, улетели к реке, и опять наступила тишина.

В ушах у Юрия попискивало, и казалось, что писк походил на щебет серой птички.

— Ну скажи, скажи, Ванюша, куда ты летишь? К кому летишь? — донесся над ухом женский голос. Юрий ничего не мог понять, затаился.— Ну скажи: к кому летишь?

Юрий открыл глаза. Рядом с начала полета сидел грузный мужчина. Откинув голову на спинку кресла, он шумно отпыхивался во сне. Густые рыжие усы приподнимались при выдохе. От каждого всхрапывания он силился приоткрыть глаза, но вместо этого чуть приподнимались брови да подрагивали веки.

— Скажи: «К папе еду. К папе!»

Юрий повернулся вполоборота и увидел молодую женщину. Она сидела с закрытыми глазами, а мальчуган лет двух прыгал у нее на коленях, хлопая ладошкой по щекам, лбу, носу. Она будто не слышала этого, была в полудреме, и еле шевелившиеся губы твердили одно и то же: «Скажи, к кому едешь? К кому?» По всей видимости, малыш привык к этим словам. Женщина открыла глаза, прижала сына к себе и ста-

ла шептать ему на ухо. «Папе!» — выкрикнул малыш. Женщина приподнялась в кресле, стала целовать Ванюшу. Он вырывался из ее объятий, визжал и смеялся.

Самозерье встретило их моросящим дождем. Ветер дул со всех сторон, кружил на взлетной полосе одинокие пожелтевшие листья. Юрий съежился, приподнял воротник пиджака.

По полю, размахивая над головой шляпой, бежал молодой мужчина. Женщина присела, прижала к себе Ванюшу, говорила:

— Смотри, Ванюша, смотри, папа бежит.

Но Ванюша тут же вырвался из ее рук и побежал обратно к самолету.

— Давно не видел. Забыл,— извинительно-растерянно говорила женщина, не зная кому.

— Ванюша! Ванюша! — кричал мальчугану отец, но тот бежал, прятался за чужие чемоданы и рюкзаки.— Иди ко мне, сынок!

Отец присел на летном поле, протянул вперед большие руки с темными ободками возле ногтей. Мальчик остановился, постоял с минуту и с плачем бросился к отцу. Тот обхватил его ручищами, прижал к себе, уткнул лицо в крохотное плечо сына, прятал в сторону повлажневшие глаза, приговаривал:

— Ну и мужик у меня вырос. Ну и помощник приехал. Я все жил здесь и думал: кто же мне помогать будет? Когда ко мне сынок Ванюша приедет?

Юрий стоял на ветру, радовался счастью незнакомых людей.

Перепрыгивая через лужи, он побежал к вокзалу, еле успел вскочить на подножку автобуса, в котором было тесно и душно, пахло дымом, мазутом, лесом. Мимо с ревом и визгом проносились машины. Грохо-

ча, медленно ползли по бетонке груженые трубовозы, мелькали оранжевые кузова «Татр».

Кондукторша, худая и бледная девушка с ярко накрашенными губами, стояла, прижатая в угол, и, как заведенная, твердила:

— Проходите вперед! Проходите вперед!

— Объявляй остановки! — заорал притиснутый к сиденью парень.

Кондукторша посмотрела в противоположную сторону от парня, поправила на плече широкую лямку кожаной сумки, из которой послышался звон монет.

— Обилечивайтесь! Обилечивайтесь! — тем же тягучим голосом продолжала она, протягивая руку.

Автобус качнуло и накренило. Пассажиры, как по команде, наклонились на правый бок.

— Остановка СУ-509! — крикнула кондукторша, раньше других почувствовав, как автобус сошел с бетонки.

Юрий забыл название остановки, на которой надо было сходить. Он помнил, что Леонид Нечаев тоже называл какие-то буквы.

— Строительное управление! Строители! Кто спрашивал СУ-509?

— Так бы и говорила.

В автобусе стало свободнее.

— Следующая — УТТ-2,— объявила кондукторша.— Управление технологического транспорта,— поправилась она.— Здесь все остановки так называются. Готовьтесь, за поворотом УТТ-2 будет.

«Мне вроде не в УТТ»,— подумал Юрий, проталкиваясь к кондукторше.

— Слушай, мне к вышкомонтажникам надо. В контору, где буровые вышки строят.

— В конторе буровые не строят, их на месторождении монтируют,— не поднимая

головы, ответила девушка.— А контора через одну остановку...

Он выскочил из автобуса на обочину дороги. Одна лямка у рюкзака была оторвана, пиджак расстегнут. Кондукторша смотрела на него через стекло и улыбалась. «Чего смеется?» — подумал он, не находя ничего веселого. Разбрызгивая грязь, автобус покатил дальше, оставляя на дороге узорчатый след тяжелых колес.

Юрий стоял на обочине дороги. На улице было темно, только у горизонта серело небо и в лучах уходившего солнца освещались темные облака, похожие на кучи темных медвежьих шкур. Сырой, пронизывающий ветер дул беспрерывно, принося с болот затхлый запах мхов. Мимо по бетонке мчались машины, издавая непривычный, своеобразный гул, отдаленно напоминающий гул турбовинтового самолета.

Юрий стоял и, не зная чему, улыбался. Случись это с кем-нибудь другим, он непременно посчитал бы, что с человеком творится что-то неладное: вокруг ни души, если не считать проходивших машин, впереди полная неизвестность, над головой темное, беззвездное небо, а он улыбается.

На противоположной стороне дороги виднелись огни. Он пошел к тяжелым железным воротам, возле которых неуклюже ворочались большегрузные машины, размешивая колесами жидкую грязь.

У крыльца проходной, ежась на ветру, стояла девушка и что-то кричала водителю и махала рукой. На вопрос Юрия, есть ли кто в управлении, не повернула головы, ответила скороговоркой:

— Разнарядка идет. Сам начальник проводит.

В узком коридоре управления пахло сыростью от вымытых полов, на расхлябанных петлях скрипела приоткрытая дверь.

Юрий притянул ее плотнее и, осторожно ступая по половицам, пошел к лестнице. Женщина с испуганным взглядом голубовато-отлинялых глаз окликнула его.

— Молодой человек, рабочий день окончен.

— Мне к Братцеву,— ответил Юрий.

— Уважение надо иметь, молодой человек,— говорила она назидательно. Но тон ее показался Юрию неубедительным: было впечатление, что говорит она это только для порядка, для всех одинаково и равнодушно.

— Я издалека.

— К нам все едут издалека,— ответила женщина и пошла к двери.— Братцев вас все равно не примет. Я лучше знаю его характер.

Юрий прошелся по коридору взад-вперед, бросил рюкзак в угол, сел рядом. На левой ноге щемило мизинец. Сморщившись, потянул из голенища ногу. Отсыревшие портянки скрипели. Запахло потом. «Вот бы в баню. Набрать ковшом воды из деревянной бочки, ленуть на раскаленную каменку и похлестать тело березовым веником»,— успел подумать он и не заметил, как задремал. Может, забытье длилось минуту, но вскочил он от громких голосов. По лестнице, стуча болотными сапогами с загнутыми раструбами, шли мужики. В брезентовых куртках, с голубой эмблемой буровой вышки на рукавах, они походили на братьев-близнецов.

— Значит, завтра везете на двести восемьдесят шестой «куст» пиломатериалы! Все! До единого бруска! — кричал на весь коридор черноволосый кудрявый мужчина.— Хватит из-за вас всякий раз нахлобучку получать! Как пойдешь у вас на поводу, всегда под монастырь подведете. Пользуетесь моим характером,— бурчал он, раску-

ривая сигарету. Он говорил что-то еще, но Юрий, натянув на босую ногу сапоги, оставив в углу рюкзак, стал подниматься на второй этаж, не теряя надежды встретиться с Братцевым.

Из приоткрытой двери доносился приглушенный бас:

— Я русским языком говорю — бросьте привычку перебрасывать свою работу на чужие плечи. Не разрешу перевозить буровую без подписанного акта. Отменю! Косолапов еще под нашей крышей ходит. Готовьте буровую к демонтажу как следует, тогда предъявляйте претензии. Все!

Юрий попытался представить себе человека, только что говорившего по телефону, и, сделав шаг, оказался напротив кабинета с широким полированным столом, за которым сидел начальник. Юрий не сомневался, что это был именно Братцев. Мужчина смотрел на Юрия, словно пытался что-то припомнить, но не мог.

— Ну что? Проходи! — сказал Юрию, как давно знакомому человеку. В эту минуту Юрию представился стоящим возле полированного стола Леонид Нечаев. Да только ли Леонид был тут. Сколько едет сюда нашего брата!

— Проходи,— повторил Братцев, кивком приглашая в кабинет. Юрий нащупал конверт, сложенный треугольником, подал Братцеву. Разглядывая его, Братцев улыбался, распечатывать не стал, а просто сказал: — Работы здесь на всех хватит.— Он вышел из-за стола, подошел к окну, сквозь которое виднелись густые серые тучи. В наступивших сумерках ясно вырисовывался его профиль с большим выразительным носом. Здоровая стать, неторопливые движения подчеркивали силу, а две глубокие складки на лбу указывали на упрямый характер.

— Где устроились?— спросил он не оборачиваясь.

— Пока нигде.

— Нигде, значит,— повторил Братцев.

Юрий смотрел на него и думал, что ему, Братцеву, лет за сорок и жизнь для него была не шуткой.

Братцев вернулся к столу, достал из стола небольшой термос, две фарфоровые чашки, молча налил горячего чаю.

— Пейте,— пододвинул он чашку и снял с рычага телефонную трубку.— Мне восемнадцатое общежитие,— сказал он, уставив взгляд на трубку. Было в этом хмуром на вид человеке что-то такое, отчего становится легче. Юрию думалось, что работать с ним будет не легко, но надежно.

— Жена есть? — как бы между прочим спросил Братцев. В его тоне не было оттенка праздного любопытства, которое всегда настораживает людей. Большие, умные глаза Братцева смотрели на Юрия. Улыбнувшись, он утвердительно сказал: — Нет, так будет!

Глава пятая

Хвыля рассматривал себя в зеркало и с удивлением видел не два, а четыре собственных глаза. Плотно сжав веки, посидел с минуту, облокотившись о стол, снова посмотрел в зеркало, но там неизменно то удалялись, то приближались четыре глаза. «Это, однако, хмельники»,— подумал про себя. Мысли в голове расплывались, и он не мог вспомнить причину, из-за которой так крепко напился. Постепенно мысли стали сворачиваться в один клубок. Он вскочил на ноги, с грохотом опрокинул стул и, опершись руками о пол, пополз на четвереньках к кровати.

— Лапка, Лапка,— звал он заплетающимся языком.— Ну как ты там, сердечная? Лапка! Живая ты?

Из-под кровати доносилось жалобное собачье поскуливание.

— Я завтра найду обидчика! Не беспокойся. У меня с ним будет короткий разговор. Вздумали над беззащитным щенком потеху творить! Вот паразиты.— Хвыля лег на пол, протянул под кровать руку, но услышал урчание.— Лапка! Присмирись. Знаю, не любишь ты, от кого винищем несет. Ишь чистоплюйка. А я к тебе всей душой. Из-за тебя же выпил! Из-за тебя. Не приключись с тобой беды, я бы, может, спал сейчас и десятый сон досматривал. Ну ничего, я найду обидчика. Слово тебе даю: найду.

Хвыля лежал на полу, застланном зеленоватым линолеумом, и не находил силы подняться.

Главной причиной сегодняшнего Хвылиного расстройства было не только приключившееся с Лапкой несчастье. Это был лишь повод. А на самом деле у него произошла серьезная размолвка с бывшим прорабом Пашкой Бобровым. Надо было точно определить, с кем оставаться: с ним, с Пашкой Бобровым, или взять сторону молодого, только поставленного старшим прорабом парня с образованием, имени которого почему-то Хвыля никак не мог запомнить. Чтобы отвязаться от этих мыслей, он по приезде вахты в город не сошел на своей остановке, а проехал дальше, в старую часть города, где спиртное продавалось без всякой очереди.

Хвыля пил редко и не испытывал истинного удовольствия, не поддавался уговорам, но в этот вечер его намерения были благими. Раскупорив бутылку, он отпил из нее полстакана и тут же собрался в столовую. Надел чистую куртку, нащупал в кар-

мане ключ и услышал жалобный писк Лапки. Учуяв, что хозяин собирается уйти, она напомнила о себе.

— Ох ты, бедняжечка! — не вытерпел Хвыля, полез под кровать, где давно был постлан ватник, который уборщицы несколько раз выбрасывали на помойку, но потом махнули рукой, делали вид, что не замечают собачьей подстилки, уталкивали ее к самой стене деревянными «лентяйками». Поглаживая мягкую шерсть на спине Лапки, разглядывая подпалины на ушах и морде, Хвыля сердито бурчал. Пока он возился с собачонкой, выпитая водка размягчила тело, движения стали вялыми. Хвыля, раздосадованный, выпил еще и еще, позабыв о столовой.

Скоро он надоел Лапке, и собачонка уползла в дальний угол к стене и стала лаять. Хвыля, испугавшись, что на лай может прибежать дежурная и выгнать его вместе с собакой, притих. Он, наверное, проспал бы на полу до звонка будильника, если бы не рычание Лапки.

— Тихо, Лапа, тихо,— бормотал он, поднимаясь с полу.— Тихо. Мы сейчас с тобой выясним обстановку.— Он подошел к двери, с минуту прислушивался.

— Да пойми ты! Мы по пузо в воде плавали. Если бы не трактор — утопили блок! Утопили бы, и никто бы места не нашел. Я тебе русским языком говорю: признавай свою ошибку или душу вытряхнем! — Хвыля узнал хриплый голос Борьки Колосова.

В дверь постучали.

— Это, Лапа, новичок стучится. Нам с тобой нового жильца подбросили,— шептал Хвыля, открывая дверь.

В проеме показалась высокая фигура Юрия.

— Тебе чего? — скорее для порядка

спросил Хвыля, пропуская в комнату нового жильца.

— Жить буду,— ответил Юрий, почувствовав запах водочного перегара. Лапка заурчала.

— Если нет надобности, не включай свет,— попросил Хвыля.— Лапке сваркой глаза ослепило. Я ей только что примочки делал.

Юрий присмотрелся в полумраке, подошел к кровати возле окна. Свет от лампочки, висевшей на столбе под круглым металлическим абажуром, падал на подушку, на кромку одеяла с широкими полосками. Раздевался медленно, складывал на спинку стула одежду и вспоминал мать, словно въявь видел ее сухую спину и спорые движения не знавших отдыха рук. В тишине ночи из коридора доносились невнятные голоса, послышался храп с соседней кровати. Ветер стучал по крыше, в рамах дребезжали стекла. Он не заметил, как уснул.

Хвыля проснулся первым, с минуту лежал не шевелясь, стараясь в подробностях вспомнить вчерашний вечер. Вытащив из-под одеяла руку, махнул под кроватью. Собачонка будто только и ждала этого, выскочила, пробежала вокруг стола, завиляла хвостом.

— Ожила? — шепотом спросил Хвыля, босиком пробежал по холодному полу, включил электрочайник и еще лежал минут пять, не зажигая света.— Эй, вставай! — крикнул Юрию.— Может, куда по делам надо? Тут везде очереди, и все встают ни свет ни заря. Прохлаждаться некогда. Если нет дела — извиняюсь.

Юрий поднял голову.

— Работать приехал? — спросил Хвыля.

— Работать.

— Тогда чего нежишься? — с укоризной в голосе сказал Хвыля.— Я уж с Лапкой

вслух разговаривал, думал — разбужу, а ты будь здоров какого храпака давал, будто на тебе буровую вышку таскали.

— Я только приехал.

Хвыля в упор посмотрел на Юрия, спросил ехидно:

— Чья-то мохнатая лапа на большие рубли пальцем поманила?

— С чего взял?

— Не так-то просто с первой минуты место в общаге получить. Я, по крайней мере, с месяц на полу аэровокзала с бичами валялся.

— Будем считать, что я в рубашке родился,— сказал Юрий.

— Свежо предание, да поживем — увидим,— многозначительно ответил Хвыля, поглаживая окладистую бороду.— Тут одну медицинскую комиссию будешь проходить неделю. Как космонавтов принимают: ощупывают, осматривают, рентгеном просвечивают, анализы разные требуют.— Хвыля взял на руки собачонку, долизавшую в блюдце разбавленное водой сгущенное молоко, обтер рукавицей черненький нос.— Пойдем — столовую покажу. Пока народу мало — поешь в аппетит,— позвал он Юрия.

Проходя мимо дежурной, Хвыля прикрыл морду Лапки брезентовой рукавицей, озорно подмигнул. У крыльца отпустил собачонку, и она, радуясь свободе, побежала, часто оглядываясь.

От крыш, стен деревянных домов, низких палисадников, тротуаров, мостиков и просто набросанных через лужи плах пахло сыростью.

— Чуешь, борщом пахнет? — спросил Хвыля, кивнув в сторону одноэтажного дома. Над дверью, обитой коричневым дерматином, висел деревянный щит, а на нем старательно выведено красной краской: «Столовая».

— Мы на работе завтракаем,— пояснил Хвыля и зашагал по тротуару. Потом обернулся и помахал рукой. Юрию было приятно от этого жеста.

Блики скупого солнца, выглянувшего из-за туч, играли в лужах темной воды, сверкали сизью мазутных пятен. Нахохлившиеся воробьи прыгали по обочине дороги, но, вспугнутые порывом ветра, поднялись на крыло и бочком полетели в сторону березовой рощицы.

По тротуару в сторону столовой, грохоча тяжелыми сапогами, бежали парни, на бегу запахивая полы плащей, натягивая на лбы кепки и береты. Со стороны болота плыла черная туча, подминая под себя дрожащие светлые облака. Было что-то зловещее в этой темной громадине, повисшей над городом. Порывистый шквал ветра замутил в луже воду, собрал поверхность в мелкие рябые складки. В воздухе закружились сухие листья, тонкие стебли осоки, семена болотного пырея. Крупные капли дождя хлопнули по сухим доскам тротуара, и сразу полил дождь, с силой захлестал по земле и лужам. С крыш покатились стремительные потоки. Юрий влетел в сени столовой. Тугие струи секли воздух, сливаясь в сплошную водяную лавину, заливали ложбины, канавы, текли по тесовым стенам, оставляя следы темных полос. Вода билась в стекла, бежала с подоконников, образуя на полу лужи.

Ливень скоро прошел, но стало неуютно, пасмурно и тоскливо. Под ногами хлюпало. В воздухе висела моросящая дымка. Казалось, что вся одежда до нательного белья пропиталась сырью, холодила тело.

К полудню Юрий выстоял громадную очередь в поликлинике, побывал в рентген-кабинете, у окулиста и волей-неволей оказался в курсе многих событий Самозерья.

Он узнал, что сюда на гастроли приехал столичный оркестр под управлением Мещерина, что артисты умудряются давать по четыре концерта в день в одном-единственном Доме культуры, что люди валом валят на эти концерты, покупают цветы у предприимчивых южан, не скупясь, платят за розу с поблекшими лепестками по три целковых.

К вечеру он еле тащил ноги. В голове стоял шум то ли от грохота машин, то ли от многолюдия в очередях. Раздражала непролазная после дождя грязь. Вспомнилось Манинское озеро, куда осенью он с ружьем ходил на охоту: непроходимая топь, кочки по пояс. Возле крыльца общежития стояло жестяное корыто. Палка с самодельной мочальной кистью валялась в стороне. Каждый, кто подходил к крыльцу, тряс ногой в корыте, смывая хлопья грязи. Юрий не захотел толкать сапоги в грязную жижу, обошел вокруг общежития: выбрал ложбину под стоком воды, собрал в пригоршни желтые листья и до блеска вымыл голенища сапог.

Дежурная сидела за столом хмурая, смотрела на двери исподлобья. Жесткая черная челка нависла над бровями, глаза ввалились.

— Ноги вытирайте! Вытирайте ноги! — говорила она, натягивая серый пуховой платок на плечи. Ходуном ходила входная дверь, парни вваливались шумно, шурша брезентовыми спецовками, пробегали мимо дежурной, не обращая внимания на ее слова. Из приоткрытой двери слышался напев татарской песни, но его тут же заглушили африканские ритмы, грохот барабанов. Дежурная поморщилась, закрыла ладонями уши и, вскочив, затарабанила кулаком в дверь.

— Милости просим! — говорил парень в

щелочку приоткрытой двери.— Обновку обмываю.

— Какая обновка? Каждый день елозишь одно и то же!

— Ошибаетесь, Лукерья Степановна. Этот магнитофон новой марки. Как бы вам популярней объяснить: мощность у него посильнее, звук почище. Прислушайтесь, как функционируют колонки. Слушайте: тата-та, тата-та! — Парень открыл дверь настежь и в такт ритма стал выделывать на пороге энергичные па.

— Черт вас не угомонит,— махнула рукой дежурная.— В получку на головах готовы ходить. И как только утром поднимаются? Как у них головы не болят? — говорила она, оглядывая Юрия с головы до ног.— И ты такой же? — Юрий пожал плечами.— Такой же! — утвердительно сказала рассерженная дежурная.— Все до первой получки смирные, а после хоть веревками вяжи. А работают как звери. Дошлые до работы. Откуда только сила берется?

— От молодости,— ответил Юрий.

— Тоже мне, грамотей,— услышал вслед. Он шел по коридору уже в приподнятом настроении, под четкие ритмы африканского джаза, не замечая, как ноги сами сгибались в коленях, а плечи слегка пошевеливались в такт, будто старый пиджак жал в плечах.

За дверью слышались голоса. Удостоверившись, что он не ошибся, распахнул дверь без стука.

Сизый папиросный дым висел над столом. Двое парней, сидевшие за ним, нехотя обернулись. Один из них, черноволосый, тяжело дышал, и в первую минуту Юрию показалось, что у него одышка. Хвыля почему-то смеялся, широким жестом приглашая Юрия:

— Прошу любить и жаловать — мой новый сосед! — Он встал посреди комнаты,

переступая с ноги на ногу, и половицы поскрипывали под тяжестью его массивного тела.

— Садись,— не глядя на Юрия, пригласил и парень. Голова у парня была втянута в плечи, завитки давно не стриженных волос прикрывали красную шею. В позе рассерженного кота он словно был готов к прыжку: по-видимому, между парнем и Хвылей состоялся какой-то поединок и в проигрыше оказался гость. Он не мог скрыть этого и сидел, ерзая на стуле, не зная, на кого смотреть. С минуту стояла тишина. Вдруг темноволосый парень поднялся со стула, в два шага оказался за дверью и с таким грохотом захлопнул ее, что известь посыпалась с потолка. Его приятель, краснолицый рябой парень, поспешил за другом. Хвыля хохотал.

— Проспорили! Ящик вина проспорили, вот и обозлились. Я же говорил, проспорят — не верили, а дело пустяшное. Всего-то надо зубами стол поднять.

Юрию показалось, что он ослышался: не верилось, что можно зубами поднять такую махину, да еще с бутылками и тарелками.

— Думаешь, слабо? — Хвыля, настроившись, подошел к столу, несколько раз хлопнул ладонью по середине, как бы проверяя крышку на прочность, провел рукой по кромке.

— Смотри. Я тебе попервости так просто, по случаю хорошего настроения показываю.— Он заложил руки за спину, подошел к углу стола, присел на корточки. С минуту с закрытыми глазами, сосредоточиваясь, глубоко и ровно дышал, как спортсмен перед победным рывком. Зажав зубами угол стола, стал медленно подниматься. Ножки стола оказались на весу, и, по мере того как Хвыля вставал в полный рост, стол

медленно поднимался. От неожиданности Юрий замер, боялся пошевелиться или проронить слово. Казалось, что внутреннее напряжение Хвыли передавалось ему. Когда Хвыля встал в полный рост, стол вмиг оказался у него в руках.

— Ну ты даешь! — выдохнул Юрий.

— Пустяки.— Улыбаясь в черную бороду и обтирая ладонью лоб, Хвыля несколько раз прошелся от порога до стола.— По всем правилам и на спор я таким же манером могу стол на пол поставить. Вот тогда класс получается. А вообще-то это потеха.— Хвыля опять захохотал.— Тут тренировка нужна, азарт, а каждый думает — сила. Здесь вообще все делают в азарте,— заключил он и, накинув на плечи полотенце, пошел умываться.— Вот когда будешь в других комнатах — посмотри: у всех столов углы обкусаны. Все тренируются.

Глава шестая

Медицинскую справку, скрепленную печатью, со словами «по состоянию здоровья Перевалов Ю. С. может работать в условиях Крайнего Севера» Юрий положил на стол женщине с голубовато-отлинялыми глазами. Плотно сжав густо накрашенные губы, она пристально смотрела на него, не скрывая любопытства.

— Вам, молодой человек, надо зайти к начальнику. Он два раза спрашивал о вас по селектору,— перебирая на столе бумажки, наконец сказала она.

— Как зовут начальника? — поинтересовался Юрий.

Вопрос показался женщине нелепым, и она не смогла скрыть удивления: вот ведь как умеет комедию разыгрывать!

— Нашего начальника Иваном Аркадье-

вичем зовут,— проронила она, и щеки ее покрылись густым румянцем. Когда Юрий вышел, она набрала номер телефона приемной Братцева, поинтересовалась, вошел ли к нему сварщик Перевалов.

Мария Ивановна — инспектор по кадрам — была удивлена интересом начальника к новому рабочему. Еще утром она тщательно пересмотрела все документы, перечитала автобиографию и, не отыскав никакого родства, мучилась в догадках: кем же приходится начальнику приезжий парень? Случайностью это назвать было нельзя. Иван Аркадьевич хотя и интересовался комплектованием бригад, но впервые потребовал на беседу новичка. Любопытство было ревностное, не служебное. Она выбежала из кабинета, влетела в приемную.

— Занят? — спросила секретаршу, сама не зная для чего, раскаиваясь в душе, что снова не вытерпела, побежала, лишь бы увидеть Братцева.

При дневном свете кабинет начальника казался большим и светлым. Полированные панели блестели, делали комнату шире, словно раздвигали стены. В углу, на низеньком столике, рядом с графином, стоял хрустальный стакан, такая же пепельница. Сегодня начальник показался Юрию моложе, лицо — не таким смуглым, взгляд — не таким хмурым. Но в черных прищуренных глазах светилась та пытливость, которую давно заметил Леонид Нечаев: «с первого взгляда людей распознает».

Братцев прошелся по кабинету, достал из кармана сигареты, встряхнул пачку, протянул Юрию.

— Не курю.

Раскуривая сигарету, Братцев не спрашивал Юрия, как тот устроился, каковы впечатления от всего увиденного.

— Думаем направить вас в бригаду

старшего прораба Охапкова. На строительство экспериментальной буровой — во всяком новом деле нужны грамотные люди.

— С вышкостроением я мало знаком,— постарался опередить Братцева Юрий и заметил, как у начальника округлились глаза: он промолчал, будто не слышал его ответа, и сел, положив обе руки на стол.

— Хорошего в той бригаде мало — сложная бригада,— заговорил он после некоторого молчания.—Старший прораб Охапков молод, ему требуется поддержка, быть может, не столько в строительстве буровой, сколько морально. Строить вышки там есть кому. Один Бобров что стоит. Охапкову поддержка нужна. Налаживание в бригаде здорового, как теперь принято говорить, психологического климата.— Дважды повторив слово «поддержка», Братцев посмотрел на Юрия, стараясь угадать, понял ли тот его главную мысль.— Вы, кажется, кандидат в партию и недавно вернулись из армии. Не забыли еще порядок и воинскую дисциплину, а тут у нас народ разный.

— Хорошо,— ответил Юрий.

— Тогда — всего доброго.

Плотно прикрыв за собой дверь, Юрий все еще ощущал на себе пристальный взгляд Братцева.

Вечером Хвыля с нескрываемым любопытством слушал Юрия, но молчал и при упоминании фамилии Боброва многозначительно хмыкнул.

— Что это за фигура — Бобров?

— Мужик с понятием. Дотошный,— ответил Хвыля, и Юрий заметил, как у него переменилось настроение.— Сам узнаешь.

На автобусной станции была невообразимая толчея. Мелькали спины в прорезиненных плащах с откинутыми капюшонами.

Буровики, дорожники, тампонажники, вышкомонтажники отыскивали друг друга. Лапка прыгала возле большого красного автобуса, дожидаясь хозяина.

— Чего каждый день с собой возишь? — спросил кто-то из парней Хвылю, когда тот прятал собачонку за пазуху.

— Пообидят еще,— серьезно ответил Хвыля, заходя в автобус.

В автобусе было тепло. Все сиденья, не считая передних, были заняты.

— Валяй сюда! — услышал Юрий голос с дальних мест и догадался, что зовут его.

Широко распахивая дверцу автобуса, ввалился парень с багровым шрамом на подбородке. Бросив на кожаное кресло брезентовые рукавицы, не сел, а грохнулся, запахивая вокруг себя полы болоньевой куртки. В каждом его движении, повороте головы, мимолетном взгляде чувствовалось недовольство. Следом в автобус будто впорхнул белобрысый парень в толстых очках на курносом носу. Прищурив глаза, он осмотрел сидящих, кивнул головой — то ли поздоровался, то ли дал знак шоферу.

Автобус медленно тронулся, выехал на бетонную дорогу. По сторонам замелькали дома, временные постройки и распахнулась ширь непроходимых болот. Скоро автобус свернул в сторону, покатил по насыпи. Колеса угадывали в глубокие колеи, разбитые большегрузными машинами. Автобус стало трясти и раскачивать, как громадную зыбку. Сосед Юрия, как и другие, уткнув лицо в воротник куртки, дремал. Парень с багровым шрамом напевал:

Секунды и минуты
становятся часами...
Секунды и минуты
становятся часами... —

но чувствовалось, что мурлычет он песню вовсе не потому, что у него поет душа или

пришло к нему хорошее настроение. Каждый его звук казался лишним в этот ранний утренний час, когда человек только отходит ото сна, собирается с мыслями.

— К такой матери всю эту реорганизацию, скажу я вам! — неожиданно прервал песню парень.— Второй месяц без зарплаты сидим! Мудрецы-самоучки.

Юрий посмотрел на парня и сразу, без сомнения, подумал: это и есть Павел Бобров. Чтобы удостовериться, вопросительно глянул на Хвылю. Тот понял, кивнул.

— Наряды надо проверять. Или лучше расценки пересмотреть,— послышался голос сзади.

— Пустое. Теперь все туго затянули. Теперь столько намудрили — черт ногу сломит,— раздраженно говорил Бобров, бросая недобрые взгляды в сторону белобрысого парня, которому, видно, неуютно было от этой перебранки.

За поворотом горбатого настила показалась буровая вышка. Юрий привстал, вытянул шею.

— Успеешь наглядишься,— хладнокровно сказал сосед.

На насыпной площадке, посреди болота, целилась вершиной в небо стальная громадина буровой. Лестничные перила, перекрытия и переходы смотрелись вверху ажурными украшениями, а на земле ровно выставленные стеллажи, опоры, сверкающие краской, блоки, соединения, стальные рельсы под основанием — все монументально. Нет, не мог в эту минуту Юрий отвести взгляда от буровой. Он слышал сзади возбужденные голоса, шутки, смех, но не оборачивался. Все вместе с пронзительным ветром пролетало мимо него, улетало далеко в болотную даль. «И надо же такую громадину отгрохать!» — думал он, востор-

гаясь при одной мысли, что скоро и сам будет причастен к этому великому делу.

— Ты нас спросил об этом? Спросил? — доносился почти истерический крик Пашки. Юрий обернулся. Белобрысый парень в очках, поправляя указательным пальцем очки на переносице, стоял напротив Боброва, разводя руками.

— Надумал буровую сдавать. А нас спросил?

— Чего спрашивать, и так все давно ясно. Одни мелочи остались. Сегодня срок конечный. Если не сдадим — акт не подпишут, а просить не буду.

Бобров наглел:

— Кто не подпишет? Буровики? Да им тоже на хлеб зарабатывать надо.

— А совесть? — увидев приближающегося Юрия, ответил парень в очках. Стало ясно, что это и есть молодой старший прораб Охапков.

— Что совесть? Что совесть? В гробу я видел такую работу. Пока тариф платить не будут — никто к буровой и близко не подойдет.— Взгляд Пашки блуждал по сторонам в поисках поддержки.— Раньше так животы не надрывали, а денег пачками получали. Теперь выкладываемся, как черти, а зарплаты нет.

— Не болтай пустое,— одернул его пожилой мужчина.

Пашка стремительно обернулся и очутился лицом к лицу с добродушным толстяком.

— Ты, Михаил Сергеевич, помалкивай,— взъярился он.— У себя северные есть. Нам с тобой можно рассусоливать, а как Прокопенко, Хвыля или вот этот, новенький? Не о себе пекусь.

Юрий вспыхнул, услышав, что Пашка

кивнул в его сторону и тем словно с первой минуты взял над ним опеку.

— Уши от твоих разговоров опухли. Работать он не будет, а зачем ехал? Смотреть? Языком болтать? — спросил Михаил Сергеевич, сплюнул Пашке под ноги и пошел к буровой.

— Бойкот заявить! — уже не сдерживаясь, заорал Пашка и от волнения стал часто подмигивать левым глазом.— Пусть газеты напишут, что в вышкомонтажном управлении рабочие бойкот учинили. Сразу, как миленькие, тариф выплатят.

Почувствовав поддержку со стороны Михаила Сергеевича, на время растерявшийся Охапков возмутился:

— Это преступно, что вы говорите, товарищ Бобров! Это...

— Ты вообще сгинь с моих глаз! — не унимался Пашка.— «Это... Это...» Это ты, ротозей, все ушами хлопаешь, спишь на ходу.— Он стоял на площадке злой, сутуловатый, взъерошенный.— Подумать только — такого размазню в старшие прорабы поставили. Вот когда я был старшим прорабом, у меня начальство — во где было! — Он так сжал кулак, что побелели пальцы.— И деньги были, и пуп так не надрывали. Буровики с поклоном ходили. Верно я говорю? Верно! — Но мужики уже не слушали его, расходились каждый по своим местам.

Павел Бобров считался в бригаде ветераном. Все знали, что он один формировал ее еще в первые годы, когда на Самозерском месторождении только начиналось строительство буровых. По памяти знал, сколько километров от одной буровой до другой, на взгляд без ошибки определял объемы работ, на ощупь находил трещину в металле. Исколесил Юганские болота, берега Ваха и Пура, Варъёганские топи. За свою не так уж большую жизнь объездил

Ямал. Вышкостроение считал делом важным и к тому же по заслугам хорошо оплачиваемым. Но жизнь, как он сам утверждал, пролетела, оставив отметины на лице: тонкие морщины возле глаз, глубокие на широком лбу, рваный шрам на подбородке, который, однако, не делал его безобразным, лишь подчеркивал упрямство характера.

Бобров понимал, что вводимые новшества и реорганизация бригад направлены на уплотнение рабочего дня, на сокращение сроков строительства буровых и в конечном итоге все это положительно скажется на увеличении заработной платы. Но для этого нужно время. Пока же дела шли неважно, не срабатывали многие службы, плохо было с доставкой материалов, с транспортом. Он не упускал случая подчеркнуть, что сам он, работая старшим прорабом, достигал большего, категорически утверждал, что все дело в нерасторопности молодого, неопытного прораба Охапкова.

— Зачем кричать? — примирительно говорил Охапков, как только Пашка успокаивался.— Все зависит от нас. Если вовремя не сдадим буровую — ничего не получим. Это само собой разумеется.

Спокойный голос Охапкова выводил Боброва из себя. Ему было бы легче, если бы прораб закричал на него, стал спорить, утверждать, доказывать, а тот будто нарочно говорил размеренно и по делу.

— Суди сам! Мозгуй! — не сдавался Пашка.— Передвижки убрали? Убрали. Демонтаж убрали? Убрали. Оставили одно голое строительство. А от него не много навару: то гвоздей нет, то пропана, то электродов.

— Поаккуратней, Павел Маркович! — вернувшись, сказал Михаил Сергеевич.— Поаккуратней. Арифметика тут простая:

больше простоишь — меньше получишь.

— Носимся с тобой, как с писаной торбой. Все в рот смотрим — ветеран! — неожиданно вклинился в разговор Хвыля.— Подумаешь — Бобров. Тут и ума много не надо: ясная арифметика.

Пашка остолбенел. Слова Хвыли были неожиданными и обидными. От кого угодно мог он услышать такое, но не от того, кого год назад принял в бригаду на свой риск, хлопотал перед начальством, ручался, что в его бригаде Хвыля не будет прогульщиком. Хвыля не подводил Боброва, но не терпел хамства.

— Тебя что, гремучая змея укусила? Угомонись!

С минуту помолчав, Пашка процедил сквозь зубы:

— Широко, парень, шагаешь — штаны порвешь! — сказал, сплюнул с губ крошки табака и зашагал к вагончику, не оборачиваясь. Четверо рабочих гуськом потянулись за ним: этих парней в свое время Пашка взял в бригаду, дал заработок. В эту, как им показалось, трудную для друга минуту они решили не оставлять его одного.

Из приоткрытого окна вагончика долго еще гудел зычный дрожащий голос Боброва. Взглядом Юрий отыскал Охапкова. Тот кружил на одном месте возле труб, будто заблудился и искал что-то потерянное. Со стороны буровой доносились легкие перезвоны по металлу, редко промелькивали огни электросварки. Насыпь содрогалась под тяжестью работавшего трактора. Юрий не увидел, когда подошел Охапков, он только услышал голос, обернулся.

— Старший прораб,— как-то извиняючись сказал Охапков и протянул ладонь с тонкими пальцами. В зеленых глазах его, во всей тонкой фигуре, в плотно сжатых губах угадывалась растерянность. С минуту

они стояли друг против друга. Взгляд Охапкова был рассеян, блуждал по сторонам, покрасневшие веки набрякли.— Вот такие дела,— сказал с грустью в голосе и пошел к культбудке.

— Ничего хорошего,— ответил Юрий, шагая сзади.— Дали ему волю! Как вотчина тут!

Охапков будто запнулся, поправил на голове сползший на брови берет.

— Есть правда в его словах, есть,— ответил Охапков на ходу и неожиданно остановился: по неровной дороге из стороны в сторону швыряло «газик». Видно было, как шофер юлил между лывами и колеями, а перед самым въездом на площадку машина нырнула обоими колесами в глубокую колею.— Буровики приехали. Буровую принимать, а не примут. Вчера с вечера, как Бобров начал бузить, все пошло наперекос. Недоделок уйма! — Охапков говорил торопливо, жаловался, и Юрий почувствовал, что у него было желание убежать от комиссии, не встречаться ни с кем.

Громкие голоса в вагончике, где сидел Бобров с друзьями, смолкли. Один парень вышел на крыльцо с явным намерением узнать, кто приехал. Стоял, курил.

В бригаде знали, что Бобров умел сдавать буровые в любом виде. Умел разговаривать с комиссией и главным инженером Улитиным, умел давать обещания. Буровики это знали и не придирались по мелочам — подписывали акты. И все было любо-дорого! Охапков же делать этого не умел да и не хотел. Он решил поступить по-своему.

Трактор-тягач вытаскивал «газик» из колеи. Грязные брызги летели во все стороны, хлопали по земле, по тугому брезентовому тенту. Главный инженер хмурился, выставив из кабины ноги, долго сидел, не

зная, куда ступить, чтобы не зачерпнуть воды в высокие голенища сапог.

Охапков протянул Улитину руку, помог перепрыгнуть через колею и только тогда сказал о главном:

— К сдаче буровая не готова. Много недоделок.

— Не впервой,— ответил главный инженер, отряхивая от брызг полы брезентового плаща.

— Мы буровую сдавать не будем. Желания нет,— категорично повторил Охапков и даже расставил руки в сторону, будто хотел загородить дорогу комиссии.

— Вы что? Буровая нужна сегодня. Иначе завтра бригада будет без дела.

— У меня, у старшего прораба Охапкова, плохое настроение!

Главный инженер смотрел на него, приоткрыв рот.

— Не сдаем буровую! Не готова. Качества нет,— говорил Охапков все, что в эту минуту приходило на ум. Он был в каком-то нервном, лихорадочном состоянии, понимал, что несет околесицу, говорит невпопад, но не останавливался: — Да и настроение у меня, сами видите, плохое!

Улитин смотрел на него, молчал, не находя слов.

— Поедем обратно,— необычно тихо сказал он, как-то очень внимательно разглядывая Охапкова. В машине долго молчал и, только когда выехали на бетонную дорогу, со вздохом вымолвил:

— Это что-то новенькое у вышкомонтажников.

Бобров выскочил из вагончика как ошпаренный, спрыгнул с крыльца, минуя ступеньки, побежал напрямик, проваливаясь по колени в грязь. Сорвав с головы фуражку, стал махать, а потом, засунув пальцы в рот, засвистел, пытаясь остановить маши-

ну. Все это он проделал в одну минуту, по порыву души, безрассудно, ни на кого не глядя. Вид его был жалок: буровая оставалась непринятой. Он рассчитывал на другое: буровики с замечаниями и недоделками все-таки примут вышку, а потом Охапков пусть выкручивается, пусть бегает, пусть подписывает акты. Но теперь случилось непредвиденное: бригада остается без ускорения, а значит, без хорошего приработка.

— Ты чего-о-о-о? — заорал Пашка на всю площадку, подбегая к Охапкову.— Ты чего наделал? Я бы с Петром Максимовичем в одну минуту договорился. Уговорил бы его!

— Зачем уговаривать? Работать надо, а у меня сегодня плохое настроение,— спокойно ответил Охапков, направляясь к буровой.

— Стой! Стой, тебе говорю! — Пашка шел по площадке, набычив лоб, тяжело дыша.

Михаил Сергеевич, сбросив с головы каску, бежал за ним. Он лучше других знал Боброва и то, за что тот получил шрам на подбородке.

— Остановись! — крикнул Юрий и схватил Боброва за шиворот. Размахнувшись, тот ударил Юрия по лицу...

Всю ночь Юрий не спал, прикладывал по совету Хвыли к синяку примочки, медяки, тер пластиками разрезанной луковицы, но все напрасно: сизо-черный подтек расползался по щеке, синева округлила глаз. Боль не ощущалась, но внутри все напряглось, и временами казалось, что еще один глубокий вздох — и он освободится от тяжести, сдавливающей грудь. Ворочаясь на койке, постанывал.

— Больно, что ли? — спросил Хвыля.

Юрий промолчал. Ему было совестно и обидно. Хотелось встать и уйти куда глаза глядят или оставить все и уехать обратно. Но он понимал, что это предательские мысли самого последнего, запасного варианта. Он никогда не думал, что так мучительно носить на лице синяки. Вспомнилась сельская сторожиха Катька. Она никогда не знала, с какой стороны был очередной синяк. Стало жарко от сознания, что он невольно сравнил себя с Катькой-пьяницей: у всего села она была незаживающей болячкой. Кто только ни помогал ей, кто только ни жалел, а она так и осталась беспутной.

— На кого полез? На Пашку Боброва. В первый день. Птенчик желторотый, а уже чирикаешь! — увещевал Хвыля.

Юрий ничего не ответил. Слова Хвыли отодвинули мысли о Катьке-сторожихе, но она будто была тут, в комнате, за косяком двери. Он хмыкнул, на минуту представил, как бы в таком виде явился домой и сколько бы было судов-пересудов, как бы встретила его Маринка. Юрий зажмурил глаза, стараясь ни о чем не думать, и начал считать до ста.

Глава седьмая

Настойчивый телефонный звонок отвлек Братцева. Взяв трубку, держа ее поодаль от уха, разглядывал черный кружочек и не сразу понял смысл торопливых слов инженера Улитина. Братцев только что вернулся с совещания, где шел разговор о плохо согласованной работе между смежниками и где ему, как руководителю вышкомонтажного управления, было указано на недоработку в этом вопросе. Мысли были заняты одним: провести точный анализ всех срывов транспортных перевозок, своевре-

менности выхода на линию получаемого транспорта. Братцеву представился Коля Вдовенко, его ленивая, не по годам зыбкая походка, одутловатые щеки, припухшие веки и сонные глаза, словно Колю только-только разбудили от сладкого сна. Говорил он лениво, невнятно, по нескольку раз повторял одни и те же слова, но эта внешняя сонливость была обманчива. У Коли сгибались колени только при виде Братцева. В кабинет к начальнику он входил боком, правую ногу ставил наискосок, словно боялся, что может оступиться, руки — по швам, весь — внимание. Если сразу не мог сообразить или ответить на вопрос, все равно кивал головой, соглашался со всем, что говорили. «Тот еще гусь. Руки до него не доходят, а с него спрашивать надо»,— подумал Братцев.

Извинившись, попросил Улитина повторить все по порядку. Из того, что говорил главный инженер управления буровых работ, не все укладывалось в голове Братцева.

— Не может быть! — проговорил он, плотно прижимая трубку к уху.— Говоришь, плохое настроение у Охапкова, поэтому не стал буровую сдавать? Да не может такого быть. Смирный он. Несмелый. А на такое дело риск нужен! Если бы Бобров так заявил — другое дело.

— Мы знаем, как сдавал буровые Бобров, а Охапков молодой, но ранний.— В трубке послышался хохот. Братцев впервые слышал, как смеется главный инженер Улитин. Вначале хотел было положить трубку, но хохот Улитина был озорным, заразительным, какой бывает после остроумного анекдота. Братцев невольно засмеялся тоже.

— Так как дальше жить будем? — вдруг словно подменили Улитина.— Я знаю, сда-

ча этой буровой вам нужна не меньше, чем нам. Она в принципе готова. Я взглянул издали, а дальше Охапков не пустил. Расставил руки и не пустил.

С минуту Братцев сидел в раздумье, смотрел на телефонный аппарат, из которого услышал необычную весть. «Черт бы с ней, с этой буровой, если бы был задел! Сдали бы двумя-тремя днями позже, но нельзя! Будет невыполнение плана. Какая муха укусила парня? Что еще он придумает?» Братцев нажал на столе кнопку. Дверь приоткрыла секретарша.

— Вы не заглядывайте, а заходите! — сказал Братцев, не поднимая от стола глаз.— Пригласите партийного секретаря.

Дверь закрылась бесшумно.

Вышкостроение всегда считалось вспомогательным цехом при управлениях буровых работ. Но Сибирь настойчиво заставляла перекраивать, переделывать, перестраивать и ломать давно сложившиеся структуры управления производством, рационально размещать производительные силы. Надо было решать десятки, сотни проблем, и каждая была главной!

На Самозерье создали вышкомонтажное управление. Бригады были большими по численности, сроки строительства вышек не устраивали буровиков, которые стали бурить наклонно направленным способом по десять — шестнадцать скважин на одной площадке. Братцев по согласованию с главком приступил к реорганизации производства, созданию новой структуры управления. Все начиналось со скрипом. Привыкшие работать по старинке, с запасом и растяжкой в десяток, а то и больше дней, многие не хотели перестраиваться, поддавшись таким разглагольствованиям, какие вел Павел Бобров. Зато вновь созданная бригада Иванникова, не зная старых порядков,

смогла построить в месяц две буровые.

«Не без Боброва это!» — думал Братцев, поджидая партийного секретаря Шумилова. Шумилов год назад работал в бригаде Боброва рядовым вышкомонтажником, знал золотое бобровское правило: не выносить сор из избы! Когда узнал, что Охапков не стал сдавать буровую, не пустил членов комиссии и заявил, что у него плохое настроение, Шумилов не нашел слов и лишь развел руками.

Братцеву хотелось знать мнение партийного секретаря, и не только мнение, а предложение, как в таком случае правильней поступить. Шумилов еще не привык ставить вопросы впрямую, больше слушал и соглашался. Так было и теперь: он сидел и ждал. Братцев подвинул папку, в которой лежала куча бумаг на подпись, стал читать, писать резолюции. Бумаги, которые требовали вдумчивого чтения, откладывал в сторону, потому что был не в состоянии сосредоточиться.

— Может, наша ошибка в том, что старшими прорабами молодых поставили?

— А Иванников — старик? — спросил Братцев, перекладывая бумаги.

Шумилов опять вздохнул, поворошил на затылке жесткие светлые волосы.

— Это скорее работа Боброва,— Братцев пристально посмотрел на Шумилова, по лицу которого рассеялись красные пятна.

— Ответить и решить я ничего не могу. Лучше поеду на буровую. Все на месте узнаю. Это надо быть совсем неграмотным — план завалить.

— Поезжайте.

Шумилов ехал в «газике» по знакомой дороге, где знал каждый поворот, каждую насыпь. Дорога, ухабистая и грязная, утом-

ляла. Не приводило в восторг и обилие ягод на болотных кочках, которые издали казались покрытыми красными лоскутками. Укачивало. Мысли вертелись вокруг имени Боброва, но парторг отгонял их. «Сами промашку дали. Конечно, сами» Он, пожалуй, впервые осознал и почувствовал значимость слова «сами». Раньше, когда работал в бригаде, было проще: прораб не мытьем, так катаньем сдаст буровую вовремя, к этому пойдут все накрутки, все надбавки, в итоге — хороший заработок и ни у кого голова не болела. В том числе и у него. В управлении хотя и узнают, что буровую сдали с недоделками, но закроют глаза: буровая сдана. План есть. Теперь же он был не за чьей-то спиной, не наблюдал, а по должности обязан был разбираться во всех щекотливых вопросах. Мало быть просто Алексеем Владимировичем Шумиловым, надо нести ответ за все, что делается в управлении. Шумилову стало не по себе. «Конечно, это дело рук Боброва. Только его и ничье больше! Ох ты, Павел Маркович. Все у тебя не как у людей. Бобылем столько лет ходишь...» Шумилов стал припоминать разговоры про какую-то Тайку, которую Бобров защитил от пьяных мужиков.

С рыжеволосой Тайкой Пашка познакомился в столовой. Навестив ее раза три в собственной, не совсем благоустроенной квартире, он то и дело стал ловить себя на мысли, что общежитская жизнь ему осточертела, что подружки, молоденькие и неискренние, стали раздражать его. И лишь после работы на диване у Тайки он расслаблялся, не открывая глаз, притягивал ее к себе, ворошил густые, вьющиеся ее волосы. Тайка говорила ему нежные слова, изредка называла «лапушкой». Пашка злился, но терпел.

«Если честно говорить,— думал Пашка,—

тывают горло, слезы щекочут веки. Он глотал воздух, а вместе с ним слезы. Он вспомнил день, когда первый раз размахнулся и дал волю рукам, как испуганная мать причитала: «Вот вас отец пальцем не тронул, а ты?» — стыдила она Пашку, пообидевшего соседского парнишку. Стоило тому парню тогда по рукам нахлестать, чтобы не наговаривал зря, будто Пашка Бобров научил его табак воровать да папироски раскуривать. Сам учил, а на него свалил. Не мог Пашка сносить напраслину. И правильно сделал, что отхлестал вицей. Дольше помнить будет.

То ли одиночество, то ли тишина, то ли размеренно-неторопливо плывущие облака успокаивали. «Хорошо было людям в прошлые времена: натворил дел — иди в церковь, спрячь голову под ризник попу и кайся. Поп слышит или не слышит — говорит одно: бог простит, бог простит. Мне бы сейчас покаяться, очистить душу и вперед!» — Пашка понимал, что городит несусветную чепуху, но не мог ничего поделать: душа его искала успокоения, а успокоения не было.

На насыпную дорогу свернул «газик». Пашка лег на кочку, присмотрелся и узнал Шумилова, подумал: выйти навстречу, но ноги не поднимались. Он сидел под кустом до темноты. Видел, когда Шумилов уехал обратно, когда прошел вахтовый автобус, и даже успел разглядеть, что его место свободно.

Машина с высокими бортами проюзила по бетонке. Парень окликнул Пашку по имени и отчеству, и они поехали в город.

Прошла вечерняя разнарядка. Братцев остался в кабинете один. Откинувшись на спинку стула, вытянул ноги, ощупал ноющие

колени. Тупая боль поползла по икрам, будто враз сотни игл укололи суставы. «Все думал, не для меня разные хвори. Вот когда напомнили о себе Сахалин, Юганские топи». Он провел по икрам вниз-вверх, поморщился. Но даже физическая боль не смогла остановить и прервать мысли о Боброве и Охапкове. «Ничего. Опыт — дело наживное,— рассуждал Братцев.— Руководить бригадой должны грамотные, воспитанные люди, а не мордовороты и горлохваты. Жить будем с поглядкой не на один год».

Скрипнула дверь. Братцев поднял голову и увидел на пороге Павла Боброва. Вначале ему показалось, что он ошибся. Обрызганный грязью, в куртке нараспашку, Павел тяжело дышал, будто за ним кто-то гнался.

Братцев смутился. Что что, а уж Боброва он не ожидал увидеть в кабинете в такой поздний час.

— Проезжаю мимо, думаю: надо попроведать начальника,— Пашка, пошатываясь, подошел к столу. Он говорил правду: свет в кабинете Братцева навел его на эти мысли. Но зайти в управление сразу у него не хватило храбрости. Он сбегал в поселок дорожников, где в одном из вагончиков у спекулянтки Маньки всегда можно было купить водку. Зелье это, как говорил сам Пашка, придавало смелости, будоражило ум. Он на ходу выпил добрую половину бутылки, остатки швырнул за городьбу.

Багровый шрам у Пашки на подбородке побурел, нервно дергалось веко левого глаза.

— Ты что, хочешь пустить меня, как фанеру над Парижем? — спросил он почти шепотом. Чувствовалось, что в горле у него першило, и он начал глухо кашлять.— Не выйдет. Полегче с рабочим классом обра-

щаться надо. Может, еще мне политику приписать захочешь?

— Да уж какая тут политика? — ответил Братцев.— Чистое хулиганство. Хулиганство, за которое спрашивают строго.

— Не одолеть тебе меня. Нет. Это я тебе честно говорю. Много начальников сменилось, а мы все на месте. Я тут с первой палатки, с первого колышка, понятно? — распалял себя Пашка.— Я по пузо в болотах лазил, кормил до отвала комаров, на собственном горбу оборудование для первой буровой волок. А ты? Приехал — и решил все перевернуть? Думаешь, все по-твоему будет? Всех с работы не снимешь. Вышки кто строить будет? Рабочих тут не лишку. Держись за тех, кто рядом.— Молчание Братцева настораживало Пашку, но остановиться он уже не мог.— Реорганизацию-то хорошо в кабинетах да карандашом выписывать. А откуда у вышкарей заработок будет? Кому охота работать, если демонтажи убрали, передвижки убрали? Я же к тебе приходил, по-человечески говорил, помнишь?

— Помню, просил повысить себе разряд, но разговора о бригаде не помню.

Пашка потянулся к графину, поспешно отхлебнул несколько глотков.

— В тебе, Бобров, обида кипит,— сказал Братцев, уловив растерянность Пашки.— Не можешь смириться, что старшим прорабом поставлен Охапков, а все на реорганизацию валишь.

Пашка покраснел. Ему показалось, что Братцев уколол его в самое больное место.

— Хотя бы и это,— сознался Бобров.— Я что, хуже Охапкова работал? Хуже руководил? Этот полоротый ничего как следует не знает, а мы на него работай. Ему славу приобретай. Он блоки не знает куда

поставить, все на чертежи смотрит, а мы вышку на ощупь чувствуем.

Зло в прищуренном взгляде Пашки было откровенно.

— Меня Иваном Аркадьевичем зовут,— одернул Боброва Братцев, давая понять, что разговор окончен.— Надо, Павел Маркович, сначала собой научиться управлять, а потом претендовать на руководство бригадой.

Пашка плохо помнил, как вылетел из кабинета Братцева. Он шел в общежитие напрямик, перелеском, огибая шумную, грязную улицу.

«Придумают еще технический совет проводить, а кто меня там поддержит? Да и что я могу сказать о технологии? — думал он.— Был бы хоть Леонид Нечаев. Он всегда мог встать рядом, а это — что? Мелюзга. Пришли на готовенькое». Пашка шел, наклонив голову, пошатываясь, проклиная все на свете: и эти края, и работу, и жизнь.

— Паша! — услышал он сзади себя. Остановился. На обочине дороги стояла Тайка. Казалось, ветер норовил сдернуть с нее плащ, и она, прижимая его у подола тонкими пальцами, чуть приседая, прикрывала колени.

— Ты чего здесь? — спросил он не глядя.

— Тебя жду. Ребята сказали, что ты в управление пошел. Вот и вышла тебе навстречу.

Хотелось сказать Тайке какую-нибудь гадость, но, встретившись с ее тревожным взглядом, Пашка сдержал готовую вот-вот сорваться грубость: темные круги под глазами, припухшие веки выдавали недавние слезы женщины.

— Ну чего мы тут стоим? Пойдем домой,— сказала она, прижимаясь к холодному рукаву его куртки.

От её простых слов Пашке стало тепло. Пожалуй, сейчас они были для него самыми необходимыми: никаких распросов и утешений, только молчаливое участие. Тайка это умела. Она вообще мало говорила и, увидев плохое его настроение, замолкла совсем. Молча подала борщ, налила в стакан водки, потом развесила на веревку выстиранную рубашку.

Она не подошла к нему и тогда, когда он лег на диван.

Пашка смотрел на ее натруженные, с синими прожилками руки, любовался длинными волосами, прикрывающими худую шею. Он хотел было позвать ее, но не мог. Почему-то не мог назвать Тайкой. Не мог произнести это слово, а назвать Тая, Таисия — не поворачивался язык. «А отчего так? Чем заслужила она к себе такое обращение?» — подумал он, раскуривая папиросу.

— А ты наплюй на все, не переживай,— сказала она, составляя в шкаф посуду.— Оплошность, конечно, дал, но не в петлю же лезть? Друзья-то эти у тебя не больно надежные. Не заступался бы ты за них. Тебе своей славы и уважения хватит, а они пусть сами еще это заработают.— Она говорила спокойно, выжимая у порога портянки, встряхивая их. Капли воды, как брошенная горсть крупы, дробно прыгали по крашеному полу.

Пашке хотелось сказать, что это не ее ума дело, что никто у нее не просил совета и не нуждается в нем, но промолчал. «Вот ведь как арканит. Прямо набросила на шею петлю и давит! А ты слушаешь, молчишь и млеешь от ее слов»,— с какой-то радостью думал он.

— Ты мне знаешь чего скажи,— приподнявшись на подушке, спросил Пашка.— Как тебя дома звали?

Тайка вдруг покраснела, выпрямилась, опустила руки и стояла не шевелясь.

— Как тебя мать, отец звали? — снова спросил он.

На ресницах женщины задрожала слеза.

— Ты чего? Я тебя по-хорошему спрашиваю.

Тайка стояла и глотала слезы.

— Меня с мамой в Германию увозили. Так, когда большой черный немец вырывал меня из ее рук, она громко кричала: «Тая! Тая!» Я и сейчас часто слышу ее голос. А так меня все Тайкой зовут. И ты меня Тайкой зови. Не называй Таей, не тревожь душу, ладно? — с мольбой в голосе сказала она и ушла на кухню.

Пашка слышал, как стучала она кастрюлями, чтобы заглушить свои редкие, горькие всхлипывания.

«Вот балбес,— ругал он себя.— Хожу, живу подле бабы, а сам даже такого о ней не знаю. Все Тайка да Тайка. И каждый сопляк ее так величает, а я уши развесил. Даже в этом ее защитить не могу.— Тихие слезы Тайки встревожили его. На задний план отошел разговор с Братцевым, тревога и волнения, которые придется еще пережить.— Никогда. Ни разу больше не назову ее Тайкой. И другим рот разинуть не дам»,— решил он про себя и пошел на кухню. Тайка сидела в углу на табуретке, обхватив голову руками. Длинные и худые, они показались ему похожими на руки узников в картинах художника Пророкова, висящих у них в клубе.

— Ну чего ты?

— Ты ровно комок у меня из груди вынул,— ровным уже голосом сказала Тайка, сгребая ладонями слезы со щек.— Он все время мешал. А я все жила и думала: назовет ли кто меня настоящим именем? Неужели, думала, найдется человек, которому

захочется назвать меня теплым словом? Вот ты и нашелся, спасибо тебе.

Неожиданное откровение никак не вязалось с молодящейся, разукрашенной Тайкой и ее приторно-слащавыми «лапушкой» или «котиком», которые он всегда слушал с закрытыми глазами. «Чистые оборотни эти бабы. Ну где тут правда? Неужели человек так может меняться?» — размышлял Пашка.

— Тебя, поди, перепугали мои слезы? — не поднимая глаз спросила она.— Не сдюжила я, прости. А вообще-то, Паша, нам с тобой расставаться надо. Стала я к тебе шибко привыкать. Тепло мне с тобой, и страшно будет, когда душе остывать придется. Боюсь я быть с тобой.

— Да не пообижу я тебя. Не с ветру я, не с пылу,— горячо ответил Пашка, усаживаясь на стул рядом с ней.— У нас в управлении всякий меня знает. Я ведь не приблудный какой, а кадровый. Мне и награду в прошлый год дали,— говорил он, сам не зная для чего.

— Вот потому и боюсь, что не пара тебе. Жалко и больно будет расставаться.

— Ну и чудак ты человек. Та...— сказал он и остановился. Провел жесткой ладонью по ее пушистым волосам, притянул к себе.

— Чудной ты человек, в самом деле, Таисия.

Глава восьмая

Когда из кабинета вышел Бобров, оставив настежь открытой дверь, Братцев вздохнул: эти десять минут разговора с Бобровым стоили ему усилий, чтобы сдержаться, не дать повода к разговору на повышенных тонах. Братцев вдруг порадовался за Боброва, что живет в нем смелость и есть свое мнение.

Из кабинета Братцев вышел тихо, несколько раз припал на правую ногу и зашагал быстро, вглядываясь в темнеющее небо.

По бетонной дороге, выстроившись в ряд, тянулась колонна автомашин. Они шли на одной скорости, не обгоняя одна другую, не подавая сигналов, и это придавало бесконечному потоку торжественность. На песчаной насыпи, оскалив острые зубы, пурхалась рыжая собачонка. Она фыркала, когда, разбрасывая клубы дыма, проходил «Ураган» или оглушительно грохотал трайлер. Братцев свистнул. Собачонка обернулась, радостно завиляла хвостом и побежала вдоль насыпи.

Сторонясь грохота и пыли, Братцев свернул на обочину дороги, пошел к ряду строящихся пятиэтажек. Эти новые, крупноблочные, со всеми удобствами дома в Самозерье ждали все, и вокруг них не утихала работа: ворочались большегрузные машины, дребезжали — перекликались между собой сигналы подъемных кранов, летели и гасли в воздухе искры электросварки.

Братцева раздражал шум, сливавшийся в один грохочущий рев, от чего начинало гудеть в голове.

Дверь квартиры открывал осторожно, словно боясь, что его увидят соседи. Не раздеваясь, сел на диван. Ощущая блаженство покоя, закрыл глаза, старался выровнять дыхание, опять ощутил в сердце толчок, от которого враз повлажнел лоб, мелкие капельки пота выступили на носу. Такое состояние стало часто приходить к нему, когда он оставался один в квартире.

— Ерунда,— сказал и стал раздеваться, но тягостное состояние, тоска, всегда живущие в этом доме, настойчиво окружали его, брали в тиски.— Значит, не любила она меня! — сказал, словно отвечал кому-то не-

ведомому, но настойчиво требующему от него ответа.— Не любила! — Он подошел к столу, уперся руками о кромку, разглядывая невымытую посуду. На стенках большого бокала обозначился ровный ободок от густо заваренного чая, кусок хлеба на тарелке усох, незакрытое варенье покрылось блестящей сахарной пленкой.— Пора все вещи называть своими именами,— говорил он, энергично протирая бокал содой. И вслух сказанные для самого себя слова жгли и щемили сердце.

Полгода назад от него уехала жена, категорично заявив, что в Самозерье не поедет, разъезжать по Северу надоело, каждое лето ходить в резиновых сапогах устала и что она хочет, наконец, найти свое место в жизни, не губить оставшиеся годы, которые могут пройти так же однообразно...

Для осмысления сказанного Полиной у Братцева уходили ночи напролет. Он пытался выстроить логически жизнь, отыскать тот надлом, который стал причиной размолвки. Стал часто вспоминать свою женитьбу. Полина, одна из ярких девиц в поселке геологоразведчиков, выбрала его. С первых дней их совместной жизни было все просто, будто сошлись два нужных друг другу человека, выполнявшие один перед другим обязанности.

— Уж больно пресно ты живешь,— говорил ему закадычный друг Борис Сухов.— Смотришь — и тоска берет: ни ссор, ни слез, ни смеху.

Правда, когда Полина долго не ехала на новое место или брала на курорте путевку на второй сезон, к Братцеву приходило томление. Он слал телеграммы, она приезжала, и все шло своим чередом.

— Не по-русски все это,— морщился Борис Сухов, узнав о возвращении с курорта Полины.— Ну что это такое — никакой

радости, никакого блеска в глазах? Да многие русские мужики в своей сути охальники, юбочники. Они и чужой бабенки не упустят — сумеют ущипнуть, не боясь схватить пощечину, а уж возле своей истопчутся, каждый жест ловят, каждый взгляд, каждый поворот головы и тела, чтобы в ночных сумерках не на ощупь, не что попало от жадности и тоски целовать, перво-наперво — что поманило, что раньше не видел, а тут разглядел. Ведь быть рядом со своей женой — это божественно, это томительно сладко! Не знаю, кто как, а я жаден до такого тепла. А опосля на работе как на крыльях летаешь, многое в ярком свете видится. Может, я по-своему сужу,— сдерживая пыл, говорил Сухов,— но по-другому жизни своей с женой не признаю.

Все эти рассуждения друга, который теперь живет со своим семейством в приполярной тундре, стояли торчком в голове Братцева, не давали спокойно жить. Было желание: дать Борису Сухову телеграмму, вызвать к себе и хотя бы поговорить по-человечески, отвести душу, послушать его рассуждения о житье-бытье, в котором он был человеком дотошным, увлекался когда-то психологией, обрывками знания которой пользовался умеючи, сообразно своему пониманию. Но по всему было видно, что польза от всего прочувствованного была в его жизни ощутима.

Если говорить о работе, то тут Сухов закрыл бы уши ладонями, как бывало не раз при спорах. Каждый человек со своей колокольни смотрит на жизнь, всегда говорил Братцев, звездой жизни которого была работа, и он, к своему счастью и несчастью, отдавался ей сполна.

— Все в человеке должно быть соразмерно,— развивал свою житейскую философию Сухов, наставляя Братцева, кото-

рый тогда не вдумывался в его реплики, и только теперь они будто выползали из закромов памяти, и он, ошарашенный их мудростью, запоздало восторгался.

Он вспоминал еще какие-то разговоры с Суховым, но телефонный звонок, протяжный и настойчивый, отвлек его. Он вскочил, пиная ногой мягкий тапочек, соскользнувший с ноги.

— Иван Аркадьевич! Здравствуйте! — послышался в трубке звонкий и певучий женский голос. Показалось, что в ухо к нему влетел какой-то крохотный жучок и трещит, трещит крылышками. Братцев сощурился, кашлянул.

— Я сегодня вам несколько раз звонила домой.

— Здравствуйте,— ответил он. Голос у него был сухим и, как самому показалось, скрипучим.

— Это я, Аля.

— Здравствуй, Аля,— сказал он и опять закашлял.

— Мы с Андрюшкой тогда плохо поблагодарили вас. Вам сердечное спасибо за все. Не встретила бы вас, и все было бы у меня шиворот-навыворот.

Слова летели, и Братцев чувствовал, что Аля, эта маленькая хрупкая женщина, говорившая с ним, волнуется. Он представил, как она еле заметным жестом убирает со лба волнистую прядь темных волос или прикладывает к щекам ладони, пытаясь скрыть волнение.

— Ну что вы? Пожалуйста,— переступая с ноги на ногу, отвечал он и пытался найти какие-то неординарные, теплые слова, чтобы Аля не положила трубку.

— Андрейка здоров?

— Андрейка здесь, со мной. На-ка, Андрюша, поговори с Иваном Аркадьевичем. Скажи ему «спасибо».

В трубке послышалось шумное посапывание и шорох.

— Ну, говори, Андрюшенька. Ты чего молчишь? Это же некрасиво. Говори! — слышался в трубке Алин шепот.

— А меня еще на машине прокатишь?

— Какой нехороший мальчик! — говорила Аля рассерженно, и Братцев будто через расстояния увидел ее вспыхнувшие жаром щеки.

— Конечно, Андрюша, прокачу. Как только скажешь, так и пошлю за тобой машину.

Братцев понимал, что говорит не Андрюше, что трубку держит Алевтина Петровна, и ему стало радостно. Он понимал, что все это наивно, что разве только чистому дураку будет непонятно, к кому обращены его слова, но все его существо просило, требовало сказать это, и только сейчас, иначе не сможет.

— Ты, Андрюшенька, приходи в гости. По телевизору сказки будем вместе смотреть. Вы тогда с мамой сразу ушли, а я привез тебе паровозик. Он такой зелененький, с вагончиками, а из окон ребятишки смотрят. Один на тебя похож. Ты слышишь меня?

— Да, да, Иван Аркадьевич,— услышал он голос Али.— Спасибо вам, до свидания.

Послышались короткие гудки. Братцев смотрел в темный кружочек растерянно, удивленно и улыбался, радуясь, что сказал то, что хотелось сказать Але.

Это случилось месяц назад. Он улетал в командировку. Зарядивший с вечера дождь лил не переставая, образуя потоки и лужи. Летная полоса «раскисла», и пассажиры, потеряв всякую надежду, махнули рукой, стали подыскивать место к ночи. По

залу ожидания среди взрослых бегал мальчик лет трех в сером пальтишке, из-под синей вязаной шапочки с белой полоской ото лба до макушки смотрели черные выразительные глаза. Все остальное ускользало из взгляда, даже ямочки на щеках оставались незамеченными. Мальчик вертелся возле ног маленькой хрупкой женщины. Выставив вперед крохотный подбородок, с любопытством рассматривал прохожих. Когда ему надоедало смотреть, он хмурился, припадая головой в колени матери, но побыв так минуту-другую, опять осматривался вокруг, спрятав кулачки в карманы серого пальто.

Потом ни с того ни с сего малыш разревелся — громко, пронзительно. Мать, крепко прижимая его к себе, гладила по голове, шептала что-то на ухо, но он притихал на миг, словно для того, чтобы набрать в себя воздух и снова разразиться громким плачем.

— Устал. Уснуть не может. Трое суток сидим здесь,— пояснила женщина, когда Иван Аркадьевич присел на корточки возле малыша — в надежде успокоить его — и показал блестящую зажигалку.

Мальчишка обернулся, уставил глаза на пляшущее пламя, которое промелькнуло в его черных глазах, осветило дрожащую слезу на пушистой ресничке, и что было силы взвизгнул в лицо Ивану Аркадьевичу. Он визжал, жмурил глаза, как бы ругал взрослых за невнимание к его мальчишечьему горю.

— Вам далеко? — поинтересовался Иван Аркадьевич у женщины.

— До Челябинска. Вызвали на работу, а жилья нет. Надо подождать, а как ждать и где? Видите, какой он характерный.— Она говорила, не поднимая глаза. Он отметил густой летний загар на лице, маленькие

руки с бледно-розовыми длинными ноготками.

— Ты, мужик, наверное, к папе приехал? — остановившись возле всхлипывающего мальчугана, спросил парень в брезентовой робе.

— Папка в трубу вылетел при хорошей тяге! — неожиданно громко и ясно выпалил малыш и показал парню красный язычок.

— Андрюшенька! — слабо вскрикнула женщина и, схватив сына за руку, прикрыла маленькой ладошкой рот и, словно оправдываясь, виновато проговорила: — Чему только не научат эти бабушки.— По лицу и шее женщины обозначились розовые пятна, и, чтобы не смущать ее, Иван Аркадьевич молча встал и ушел.

Не улетев в тот день, он вернулся домой, но мысли его часто возвращались к мальчишке, оставленном в порту, коротавшем ночь где-нибудь на подоконнике или чьем-нибудь чемодане, среди дымного прокуренного зала, в котором нет еще комнаты матери и ребенка и где молодая женщина, подавленная неустроенностью, мечется, ищет место, не может найти, хотя по всему видно, что место в жизни ей должно быть отведено самое подходящее.

Приехав на следующее утро в аэропорт, Братцев первым делом взглянул на скамейку, где вчера оставил маленького Андрюшу с матерью. Прислонившись плечом к косяку двери, он как бы подглядывал, боясь быть замеченным.

Андрюша сидел на скамейке рядом с матерью, молчал, улыбался, осматривался вокруг. Потом притянул к себе мать, припал губами к ее уху, говорил что-то долго, она, улыбаясь, согласно кивала ему головой. Ивану Аркадьевичу показалось, что эти люди давно ему знакомы, и у него появилось желание подойти.

На улице накрапывал дождь, но ветер рассеял, очистил от туч горизонт. Легкий туман уплывал от летного поля. С левого края, на бетонированных площадках, стоял ряд вертолетов. Один из них взревел, содрогая гулом воздух.

— Полетел! — на весь зал крикнул Андрюша.— Не боится дождика. Маленький, а не боится.

По хриплому радио неожиданно для пассажиров объявили регистрацию билетов до Тюмени. Зал наполнился шумом и гамом.

Иван Аркадьевич подошел к молодой женщине как раз в тот момент, когда она страдальчески смотрела на невообразимую давку.

— Вот вам ключ. Поезжайте и поживите у меня, пока я вернусь. Шофер покажет мою квартиру,— сказал он спокойно и доверительно, протягивая ключ. Женщина, подавшись вперед, удивленно смотрела на Братцева. Глаза у нее были черными и, как у Андрюши, большими. Казалось, что их ломило от сильного напряжения и оттого они повлажнели, стали еще больше. Он взял ее маленькую руку, положил ключ.

— Я учительница. Меня зовут Алевтина Петровна Прасина,— робко сказала женщина, но Братцев повторил:

— Поезжайте и живите. Улаживайте свои дела.

Он вышел из зала, махнул рукой, подзывая шофера.

— М-да-а-а-а! — удивленно протянул шофер, узнав, в чем дело, но, подхватив чемодан Алевтины Петровны, сказал: — Проходите к той синей машине.

Андрюша бежал за матерью, часто запинался и хныкал, попытался взвизгнуть, но при быстрой ходьбе у него не получалось звона в голосе.

Братцев торопился на посадку. Припав

лбом к холодному стеклу иллюминатора, он увидел с высоты свою синюю «Волгу» бежавшей по асфальтированной дороге игрушечной машинкой. Он представил, как нелегко и тревожно на душе этой женщины, но был спокоен и уверен, что в его квартире им с Андрюшей пока будет хорошо.

Он вернулся в Самозерье через три недели. Впервые дверь квартиры не открывал, а постучал.

— Кто там? — услышал голос, будто кто-то все время стоял у двери и ждал его стука.

— Это свои,— протянул он, стараясь ничем не показать своего хозяйского отношения к жилью, к которому они, по его мыслям, должны были привыкнуть. Он еще снимал с себя плащ, а Алевтина Петровна торопливо надевала на Андрюшу пальто. Он, по всей видимости готовый к этому, подставил ручонки, приподнял вверх подбородок, когда мать застегивала верхнюю пуговицу.

— Вы куда так торопитесь? — спросил Иван Аркадьевич, мимоходом поправляя возле зеркала прическу.

— Мы в общежитие. В десятое общежитие. Нам там место выделили,— задыхаясь от волнения, говорила Алевтина Петровна.— На четвертый день все уладилось, а мы все тут жили.

Чемодан, пальто, туфли были возле порога, разложены последовательно, она одевалась с быстротой, и невольно думалось, что все эти движения давно отрепетированы.

— Огромное вам спасибо, Иван Аркадьевич. Спасибо большое, до самого неба,— сказала Алевтина Петровна, подвела к нему Андрюшку, и тот протянул ему мягкую ручонку.

— Так заходите.

— Обязательно,— открывая дверь ногой, вываливаясь из нее спиной, говорила Алевтина Петровна, но, ощупав карман, вспыхнула, достала ключ, протянула Ивану Аркадьевичу. Рука у нее была маленькая и теплая.

После звонка Иван Аркадьевич стоял в растерянности. Было впечатление, что ему позвонили дорогие люди, позвонили из далекого далека, что этот звонок он ждал давно. Он грохнулся в кресло, уставился немигающим взглядом на красный аппарат телефона, словно спрашивал: «И чего не звонишь больше? Разве не видишь: я жду?» Он машинально снял трубку. Послышался треск и бодрый голос: шестнадцатый.

— Мне общежитие.

— Какое?

Братцев молчал, вспоминая номер.

— Какое общежитие? — требовательно спрашивала телефонистка.

— Десятое.

— Соединяю.

Ответил грубый, прокуренный голос:

— Да-а-а-а. Чего? Никого не зовем к телефону. Нету у нас такого порядку по комнатам бегать. Надо — днем договаривайтесь.— В трубке загудели гудки.

— И договорюсь. Обязательно договорюсь,— сказал неведомо кому Братцев.

Глава девятая

Зазвенел будильник. Сквозь утреннюю дрему Юрию показалось, что звенят колокольчики. Представился праздник проводов русской зимы, когда колхозный конюх Савелий привязывал на дуги звонкие коло-

кольчики. Все знали, что собирал он их у жителей, искал в старых амбарах, шарил по кладовкам, дотошно расспрашивал, в чьих семьях деды или отцы ходили в дальние обозы. И хотя теперь в самые далекие поселки все запасы доставляются машинами, в народе хранят память о бывалых переходах на лошадях. Лошадей покупали на ярмарках — ездили для этого за сотни верст в степные края. Вместе с лошадью приобретали упряжь, кошевки, а самый зажиточный в селе мужик Лаврентий Поджаров имел тарантас. Размышляя об этом, конюх Савелий подумал, что у Поджаровых должны остаться хорошие колокольчики. К старой Антоновне он подмазывался и так и сяк, а она будто не слышала его, махала рукой: «Каки топеря колокольцы? Как зачали Советы, так все в колхоз отдали. Спроси-ка старого Тараса, он ведь, безбожник, первым нашу сбрую сграбастал да на подводу погрузил. Как токо стали вывозить тарантас из ограды, со стариком плохо сделалось. Так опосля етого на ноги не поднялся. Зашлось сердце и не сдюжило. Погас мой Лаврентий... А нашто вам сдались топеря колокольцы: ездите на лисапедах да на железных каракатицах верхом — ноги нарасшерагу».

Зим пять ходил к Антоновне Савелий, придет, поговорит, будто между прочим про колокольца вспомнит, а она хоть глуховатая была на правое ухо, а эти слова ловила и в ответ Савелию качала головой.

Нынешним летом в Совет прибежала правнучка Антоновны и сказала, что конюха Савелия бабушка Антоновна к Поджаровым зовет. Время летнее, колхозный табун на выпасе, Савелий в конюховке сбрую чинил, про колокольца в голове мысли не было. Но пошел Савелий к Поджаровым широкой зеленой улицей. Дом-пятистенник

на виду у всего села, весь солнцем залит. Бревна золотисто-желтые, на средних венцах капли прозрачной смолы блестят. Карниз треугольными зубчиками и завитками деревянными обшит. Наличники кружевные, у двух крайних два звенышка выбито. «Починить бы!» — подумалось Савелию, а сам удивился: сколько раз бывал у Поджаровых, нет дня, чтобы мимо дома не проходил, а не замечал, что строился дом с любовью и понятием. Хозяин думал не только о том, чтобы семью под крышу собрать, а не меньше заботился о красоте.

— Антоновна шибко захворала,— сказала сноха, встречая Савелия на крыльце.— С вечера за тобой посылала. Утром, как только открыла глаза, о тебе вспомнила.

Савелий по дороге все передумал: вспомнил деньги, которые брал в долг на сороковку,— вроде отдал. Про грабли она спрашивала — принес ей грабли да старые починил. Никакой провинности Савелий перед старухой не сделал, а на душе тревожно. Вошел в горницу робко. Антоновна лежала на широкой деревянной кровати, простыни прошвами вывязаны. Маленькая головка в белом платке провалилась на цветастой наволочке в перьевую подушку. Руки, сухие, маленькие, поверх стеганого одеяла лежали. Увидела Антоновна Савелия. Вроде головой не кивнула, пальцем не пошевелила, а понял он — зовет подойти.

В доме тишина, только на кухне легкий скрип половиц послышался. Оглянулся Савелий, а сноха знаки подает, заставляет его разговаривать со старухой.

— Вёдро ноне стоит. Пожалуй, наши с сенокосом скоро управятся.

— Слава богу,— ответила Антоновна, облизнув пересохшие губы, а затем посмотрела на Савелия и сказала, вздохнув: — Врала я тебе. Неправду говорила. А грех

меня гложет — неохота умирать с тяжестью.

Савелий готов был покаяться, что никакого долга за Антоновной не знает, а она свое:

— Ты все про колокольца меня пытал, я отнекивалась, а врала тебе. Есть колокольца, спрятала я их, а теперь отдать хочу. Чую, до зимы не дотянуть мне.

Лицо у Савелия вспыхнуло. Начал было убеждать, что не так уж нужны ему эти колокольца, но Антоновна перебила:

— В огороде, в пяти шагах от бани — пень. Ты, поди, помнишь — береза посреди огорода стояла, а годов десять назад я заставила Петьку спилить ее. Вот под пнем в бересте колокольца завернуты. Попроси лопату, да выкопай сам, да потом покажи мне.

Савелий молчал, гладил колени шершавыми ладонями.

— Ступай.

Савелию землю копать — дело привычное. Пошел. Во дворе сноху встретил, вместе пошли. День солнечный, в огороде на грядах картошка цветет, вдоль борозд репа желтоватые бока показывает. Возле березового пня трава в рост вымахала. Кузнечики роем разлетелись по сторонам. Обошел Савелий пень — не знает, с какой стороны лопатой копнуть.

— Копай с солнцевосхода,— посоветовала сноха.

Откопали они берестяную скатерть, развернули, а там, как сказала Антоновна, три колокольца лежат. Два медных, одно серебряное. Сел Савелий на корточки, глядит на колокольца, в руки не берет. Волнение на него напало.

— Вроде слова какие написаны,— сказала сноха.

Взял Савелий серебряный колокольчик. Он зазвенел легким ласковым звоном. По-

середине колокольчика надпись: «1807 год. Лил сей колокол в Слободском Лука Каскин». Колокольчик круглый, его Савелий в кулаке спрятать мог.

— Погляди хорошенько по ободку,— попросила сноха,— вроде еще что-то написано.

— Гляди, у тебя глаза вострее,— ответил Савелий.

— «Кого люблю — тому и дарю»,— прочитала сноха бойко.

На втором колокольчике тоже надпись: «1882 год» и буквы: славянские. Не разобрал Савелий. На третьем было четко выведено: «С. Пурех. Вит. губ. завод Павла Григорьевича Чернигина».

Антоновна лежала на кровати вполоборота. Глаза в больших темных глазницах светились тусклым, угасающим светом, как шаяли в загнете затухающие угли. С порога увидев Савелия, попыталась приподнять голову, но вздрогнула и отвернулась. Ее сухие бесцветные губы дрожали, но она собралась с силами:

— Штоб самые резвые лошади бегали с этими колокольчиками. Штоб над моим селом всегда слышался малиновый звон. Эти колокольца со свадьбы моёй.

Савелий увидел, как у Антоновны из глаз выкатилась слеза, поползла по морщинистой щеке.

Она умерла ночью, никому не сказав ни одного слова. Савелий настоятельно просил председателя колхоза записать колокольца Антоновны в инвентарную книгу колхоза. Он хранил их в старом ларе, доставал только раз в году на общий праздник проводов русской зимы. К празднику Савелий готовил лошадей, как в старину на масленицу. На расписную дугу выездного жеребца Буяна надевал самый звонкий серебряный колокольчик.

Будильник звенел, а Юрий никак не мог освободиться от мысли о серебряном колокольчике. Пробуждаясь, он слышал, как звенел будильник в соседней комнате, с небольшим опозданием раздался звон в комнате напротив, послышался бой настенных часов в коридоре. Через несколько минут дребезжание будильников смолкло. Послышались скрипы дверей, голоса.

— Хвыля, вставай! — Юрий постучал ладонью по спинке кровати. Хвыля глянул на часы, сквозь зевоту произнес:

— Приветствую тебя, романтик!

Юрий ничего не ответил, он все еще будто летал в облаках, прислушивался к звону колокольчиков, и ему не хотелось открывать глаза, опять думать про синяк под глазом.

— Фуражку на глаза и вперед! — посоветовал Хвыля, угадав мысли Юрия. Кроме этого Юрий изменил прическу, спустил пряди на лоб, приподнял воротник и пошел вразвалку, подражая сам не зная кому.

В автобус он вошел вместе с Бобровым. Тот по привычке бросил рукавицы на сиденье, хотел было оглянуться, но круто повернул голову и уставился в окно. Запахло тройным одеколоном. «Ты, Маркович, будто на вечер собрался!» — сказал кто-то, но Бобров вместо ответа провел ладонью по жестким русым волосам.

В бригаде знали все, что Пашка не признает никаких электробритв, бреется только безопасными, обильно моет лицо тройным одеколоном. В обычные дни он брился с вечера, а вчера, после откровенного разговора с Тайкой, расслабился. Утром брился впопыхах, в нескольких местах поцарапал щеку, помусолив во рту клочочек газетного лоскутка, приложил к кровоточащей ранке. В другой день он не стал бы бриться совсем, но тут не мог: мало ли кто

станет с ним разговаривать, к тому же Тайка утверждала, что он сильно осунулся и побледнел.

В автобусе была необычная для этого часа тишина. По обыкновению, кто-то кого-то окликал, звал, успевая на ходу омолвиться новостью, позвать в гости или просто свистнуть, чтобы напомнить о себе товарищу. Из радиорубки летели громкие, задорные слова диспетчерш, сортировавших по автобусам людей, слышался рокот моторов, и над всем этим пролетали короткие гудки.

Охапков опять будто влетел в автобус, на ходу задернул полы брезентового плаща. Автобус пошел медленно, раскачиваясь на рессорах, и каждый отчетливо слышал скрип неплотно прикрытой дверцы. Охапков вперил взгляд в лобовое стекло автобуса. Голова его раскачивалась, очки медленно скатывались, и он водворял их на место, когда дужка касалась кончика курносого носа. Изредка под очками вздрагивали белесые густые ресницы, румянцем покрывались щеки. При внимательном взгляде на Охапкова можно было заметить, как возле виска часто то набухала, то терялась синяя жилка.

— Прикрой хорошенько двери! Не слышишь, как тарахтит? — послышался голос Пашки. Юрий отметил, что голос у Пашки резкий и неприятный. Чувствовалось, что он не хотел сейчас хамить, но это получалось помимо его воли.

Охапков повернулся лениво (казалось, что он не расслышал, что сказал Бобров), как бы машинально протянул к двери руку и опять стал смотреть на дорогу.

Охапков понимал, что, отказавшись сдать буровую, поступил рискованно, и знал, что вызвал, как кто-то сказал из ребят, огонь на себя. Но он знал и другое: поступить иначе не имел права перед рабочими

и перед своей совестью. В противном случае надо было расписываться в собственном бессилии или слепо подчиняться и идти на поводу таких, как Бобров. Надо было махнуть рукой на все святое, лишь бы любой ценой, любыми средствами выколачивать рубль. «Зарабатывать рубль надо. Зарабатывать!» — жила в голове его единственная мысль. Об этом он говорит сегодня, об этом будет говорить завтра, будет говорить и после, сколько бы ни пришлось ему работать.

Вдали показалась буровая. Юрий, как и вчера, привстал, вытянул шею и старался увидеть в ней что-то особенное, что не увидел вчера.

— Все, как решили на разнарядке, займутся перевозкой оборудования,— сказал Охапков в автобусе.— Звено Боброва останется на месте устранять недоделки. Готовить буровую к сдаче.

Голову Пашка поворачивал медленно, словно его кто-то ударил по затылку и он теперь силился повернуться всем телом. Пашкины дружки, как сговорились, враз свистнули, в упор глядя не на Охапкова, а на Боброва, который почему-то молчал. Пашка и сам удивился, что не нашел подходящих слов, не знал, что ответить Охапкову. Если рассуждать по чести и совести, то спорить и возражать старшему прорабу было бессмысленно. Он делал это без злого умысла, не стараясь ущемить самолюбие Боброва, но другого выхода не было. У Охапкова еще из школы осталось правило, которому он никогда не изменял. В самые трудные минуты он мысленно ставил себя на место человека, чьи поступки не поддавались его осмыслению. Предполагал, прикидывал, рассуждал и, как правило, находил решение, которое казалось ему правильным. Так было и теперь. В роли Боб-

рова он находился весь остаток вчерашнего дня и добрую половину ночи. Его решение было для Пашки неожиданным. Он приготовился выслушивать наставления, вести пререкания, отыскивая «истину», но тут он почувствовал в Охапкове неотступную принципиальность. Рядиться с ним было бесполезно, но и идти работать туда, откуда вчера демонстративно ушел, было для него в высшей степени оскорбительно. Минут пять он сидел в автобусе один. Если бы дело касалось его одного, он согласился бы на что угодно, но рядом были дружки, которым он, как всегда, обещал все устроить и уладить. Они толклись возле автобуса, курили, переговаривались, ждали. Пашка не мог сосредоточиться. «Как мышь в мышеловке»,— мелькнула недобрая мысль о себе.

На площадке шла работа. Неумолкаемо тарахтели моторы машин. Гусеничные тракторы, отпечатывая ровные полоски, отсчитывали по сантиметрам участки земли, вытягивали тележки с бригадным хозяйством. Поплыла, раскачиваясь из стороны в сторону, будка столовой. Раскрасневшаяся повариха Надя только что отошла от плиты и бежала стороной, запиналась о землю, заглядывала в окна, беспокоилась: «Вроде как холодильник слабо привязали. Остановились бы, а?» Но ее никто не слышал. В сторонке складывали остатки бруса, досок, рельсы. Зеленый вагончик, подцепленный трактором, вздрогнул, сдвинутый с места. Пашка посторонился и, как назло, увидел перед глазами щит: «Здесь работает бригада старшего прораба Охапкова». Фамилия Охапкова была выведена красной краской, но Пашка отчетливо угадывал, где были буквы его, Боброва, фамилии.

— Что, Маркович? — буркнул кто-то из дружков.— Все будем в том же фасоне или рукава засучивать?

Пашке было нелегко ответить. Он не обронил ни слова, лишь исподлобья посмотрел на дружков, и они все поняли.

Насыпная площадка на зыбком болоте содрогалась, покачивалась под тяжестью техники, и Пашка был рад, что среди этого шума не может расслышать язвительных шуточек дружков. Он отыскивал взглядом Юрия: хотелось свалить вину на этого парня, который, не успев понять, что к чему, оказался рядом и попал под его горячую руку. Он увидел Юрия возле насосного блока. Накинув на лицо защитную маску, он сваривал соединительную трубу, ту, которую должен был варить Бобров. Яркие искры россыпью сыпались на землю, гасли на лету. Новые, первый раз надетые брезентовые рукавицы плохо сгибались, но руки уверенно, крепко держали ручку, и добела раскаленный электрод ровной полосой плавил металл. Юрий сидел на корточках, не ощущая неловкости позы. Казалось, рука его сама тянулась за огненной полосой, и он не в силах остановить ее, чтобы не испортить красоты. Раньше ему приходилось заниматься сваркой и резкой металла у себя в деревне, но разве можно было сравнить ту работу с работой на этих трубах диаметром в обхват. Горьковатый запах сварки пробрался под маску. Работа спорилась. Он мимоходом взглянул на часы, прикинул и подсчитал, сколько сможет пройти швов до обеда. Он совсем забыл про синяк и, когда вспомнил, усмехнулся, что из-за такого пустяка было столько переживаний.

Мало-помалу строительная площадка пустела. Величественной смотрелась буровая вышка на фоне серого осеннего неба. Красное полотнище флага с земли казалось крохотным детским флажком, но оно развевалось, трепетало на ветру, вещая всем, что

буровая строится, что она скоро будет готова к работе. По-прежнему тарахтели машины, слышался лязг металла, и Юрий, прислушиваясь ко всему, улавливал особенный ритм, четкий, стремительный. Будто это была не его работа, не работа бригады старшего прораба Охапкова, а шли съемки кино. Красные каски на головах вышкомонтажников виднелись всюду. Подъезжали одна за другой машины, тянулись провода, шланги, все было в движении. Вчера он не заметил этого, ссора с Пашкой закрыла перед ним всю красоту работы. Сейчас он закончил пятый шов, снял с лица защитную маску. Ветер холодной ладонью коснулся лица. Юрию захотелось снять с головы каску, подержать в руках, удостовериться, такого ли она огненно-красного цвета, как у всех остальных. Сзади кто-то подошел, какое-то время стоял, пинал ногой по чугунному рельсу. Глухие удары не летели вдаль, а терялись тут же возле ног.

— Неужели такого петуха нам подбросил сам Леонид Нечаев? Век бы не поверил, да все в одни голос твердят,— послышался голос Боброва. У Юрия померкло радостное, приподнятое настроение, которое не покидало во время работы.

— А что? По-твоему, рожей не вышел? — зло ответил Юрий, не зная сам, откуда взялись такие слова. У него почему-то сразу защемило в виске, и место, где был синяк, вроде набрякло. Разговаривать с Пашкой не было никакого желания.

— Ты знаешь, что такое авторитет? — спросил Пашка.— Так вот,— хрипло продолжал он,— этот авторитет я завоевывал для себя годами, силой и адской работой, а ты захотел отнять его у меня за одну пощечину? Дешево! Я тут тонул не один раз в болотах, захлебывался тиной, чтобы сдержать слово: сдать в срок первую буровую!

Юрий смотрел на Боброва, и ему было неловко слушать его. А Пашка продолжал:

— ...Планы давал рекордные, деньги получали громадные, а теперь все делается не так, как надо. С какой-то реорганизацией связались, а в ней — черт ногу сломит. Никто путем разобраться не может, даже сам Братцев...

Бобров пошел. Сзади он показался Юрию сутулым и не таким сильным, каким казался вчера.

И все же встреча и разговор с Бобровым не испортили до конца настроения, с которым он работал. День пролетел незаметно, и он смело мог поставить проведенному дню пять баллов, как умел в шутку оценивать каждый прожитый день. «С минусом, товарищ Перевалов, с минусом!» — сделал он скидку, направляясь к вахтовому автобусу, откуда неслись протяжные сигналы.

— Тебя ждем! — крикнул Хвыля.

Над бескрайним болотом поднималась бусая дымка. Она выползала откуда-то из мхов, вытягивалась в длинные полосы, кружила над кочками и кустарниками, пропитывала воздух туманной сырью. Каждый предмет на площадке потемнел, на металлических трубах, лестничных площадках, дизелях, на фермах буровой вышки образовались мелкие капли. Отражаясь в скупых лучах заходящего солнца, капли поблескивали, но тут же приобретали тускло-черный цвет, и от них начинало тянуть холодом. Подул ветер. Тугие струи воздуха прикасались к щекам, летели вкривь и вкось, и нельзя было определить, с какой стороны неслись ветровые потоки.

Громадные сапоги с загнутыми возле колен раструбами ударялись друг о друга, и звук этот присоединялся к своеобразному хору вечерних шорохов. Встречный трактор с прицепом осветил зажженными фарами по-

лукруг, свернул в сторону, освобождая дорогу автобусу. Слышался лязг болтов, бульканье воды под тракторными гусеницами.

Юрий обернулся. Величественный силуэт буровой вышки вырисовывался на фоне темнеющего неба. Вышка будто впечаталась в облака и вместе с ними плыла над землей.

Глава десятая

Он сидел с закрытыми глазами, откинувшись на спинку сиденья. Машину изредка подбрасывало, большое тело еле заметно покачивалось, голова как-то запоздало клонилась вперед, и козырек ондатровой шапки медленно сползал на лоб к широким жестким бровям. Братцев привык к постоянным разъездам по строительным площадкам, привык сам видеть, как идут дела в бригадах, умел реально оценивать обстановку на местах, разумно определять, учитывать любые возможности и старался выполнять задуманное. Сегодня выехал ни свет ни заря, чтобы вернуться пораньше и успеть на технический совет.

Авторитет его среди руководителей родственных предприятий, приобретенный не вчера и не сегодня, а в течение прожитых на Севере лет, был непререкаем. Кто-то язвительно сказал в его адрес: он пять лет, как проклятый, работал на свой авторитет, а теперь этот авторитет птицей летит впереди самого Братцева. Братцев знал это, но не позволял себе расслабляться.

В этот ранний утренний час его мысли уже были заняты работой. Словно издалека выплывала мысль о желанной встрече с Алевтиной Петровной, но тут же терялась, вытесненная заботами о предстоящих делах.

Управлять вышкомонтажным производством было делом нелегким. Главная трудность была в том, что руководители буровых предприятий, в распоряжении которых всегда находились вышкостроительные цеха, не могли привыкнуть к тому, что для строительства каждой буровой теперь устанавливались жесткие сроки. И буровикам надо было вовремя поставлять оборудование, не опаздывать с ремонтом блоков и узлов, а после пробуривания без промедления очищать площадку, снова сдавать буровую в хорошем состоянии для демонтажа, чтобы не сдерживать вышкостроителей, дать им возможность перевозить многотонное оборудование. Для буровиков это казалось чрезвычайно хлопотным делом. И все-таки рекордное бурение скоростных скважин требовало отделения вышкомонтажного цеха. Еще бы! 970 буровых вышек в год! Строить не самим, а другим предприятием. Казалось бы, и гора с плеч! Принимайте буровики готовые вышки, бурите на доброе здоровье. Но нет. Начальникам буровых управлений стало казаться, что их связали по рукам и ногам.

Братцев начал работу с анализов и выявления сроков строительства, с выполнения графика сдачи буровых. Одна бригада не успевала демонтировать станок, перевозить и снова собирать в сроки, нужные буровикам.

Создание двух новых бригад не дало положительных результатов. Буровики простаивали, в главк полетели грозные телеграммы. Братцев вынес на рассмотрение технического совета предложение о полной реорганизации вышкомонтажного производства. Первое, и главное, он предложил создать мощную, укрупненную бригаду демонтажников, которая должна заниматься только демонтажом станков, принятых от

буровиков после окончания бурения. Вторую бригаду — передвижчиков для передвижек буровой внутри площадки. Все остальные бригады должны заниматься только строительством буровых вышек. При таком четком разграничении перед каждой бригадой определится ясный фронт работ, и с точностью до часа можно назвать срок окончания строительства буровой. Но для воплощения этой идеи нужно было работать, работать, работать. Трудности виделись Братцеву не в нехватке техники и оборудования, а в психологическом настрое рабочих. Случай с Бобровым — первая ласточка этой перестройки.

Братцев в уме подсчитывал срок сдачи буровой Охапкова, строящейся на насыпной площадке посреди Самозерского озера. Буровая была экспериментальная, поэтажная, выполнялась по чертежам начальника главка Ласточкина. Он предложил такой вариант самозерцам, считая, что для северных условий поэтажность даст возможность экономичнее компоновать оборудование, позволит лучше утеплить буровую, что в этих краях дело не последнее. Многое для строительства буровой приходилось делать по своим чертежам, изготовлять на собственной базе производственного обслуживания. Бригада старшего прораба Охапкова хорошо справлялась с этой задачей. Все шло по графику.

Братцев открыл глаза. Впереди, на сколько мог окинуть взгляд, разлеглось кочковатое болото.

— Остановись,— сказал он шоферу, вылез из кабины, прошел метров тридцать по бетонной дороге, рассекающей болото на две равные половины. В лицо дул холодный колючий ветер, над головой висело низкое серое небо без единого облачка. Он попытался увидеть улетающих в теплые

края птиц, но небо было пустым, тусклым, холодным. «Тут и птицам надо летать только стаями»,— подумал Братцев и стал спускаться с дорожной насыпи к кочке, усыпанной клюквой. Ступив сапогами на кромку мха, услышал хруст.

— Лед! — крикнул шоферу.— Лед!

— Мы километров восемьдесят уехали от Самозерья на север — вот и лед. Ничего особенного,— ответил шофер.

Братцев наклонился над кочкой, пригоршней собрал в ладони крупные ягоды.

— Только и простывать от таких ягод. Враз горло перехватит. Первый мороз в себя вобрали! — бурчал шофер.

— А я во рту их погрею,— ответил Братцев.

— Балуйтесь! Балуйтесь!

— Не бросать же такую красоту! — Братцев раскрыл ладони. Клюквинки лежали одна к одной. Отогретые человеческим теплом, поблескивали темно-бордовыми боками.

— Наши едут,— вдруг сказал шофер, прикладывая козырьком руку.— Наших всегда отличить можно.

Машина двигалась медленно. Казалось, что десятки лошадиных сил, вмонтированные в мощный мотор КрАЗа, работали на пределе. Звеньевой, Александр Васильевич Брючин, разглядывал машину Братцева, наполовину высунувшись из кабины. Лицо его было обветренно, коричневые веснушки примостились на лбу и переносице. Он был невысокого роста, не по годам ловкий и проворный.

Он выскочил из кабины, как только машина притормозила. Шел к Братцеву, переваливаясь, крепкоскроенный, с круглыми, как лепешки, руками.

Здороваясь, Брючин с силой сжимал всю ладонь. Он и с женщинами здоровался

так же. В молодости, говорил, озорничал, вроде как заигрывал, а теперь и неудобно бывает, да что делать — по-другому не могу, вот и приходится при виде их руки за спину прятать.

— К Иванникову? — спросил Братцев, кивнув в сторону погруженных блоков. Александр Васильевич кивнул головой, достал из кармана пачку папирос, потряс, протянул Братцеву.

— Кури.

— У тебя там всего одна.

Брючин сощурился, повертел пачку со всех сторон, усмехнулся:

— Во, воронье. Я же ее возле моста открыл. Мы там увязли, пока тросы крепили да к тракторам цепляли, там не то что взахлеб куришь, а незаметно можно папиросу сжевать и проглотить.— Брючин вдруг вспыхнул.

— Значит, опять через мост везли? — строго спросил Братцев, но строгость в голосе была для порядка.— Сегодня управитесь?

— Ага. Одна мелочевка осталась. Ну так я поехал?

— Поезжайте,— сказал Братцев, глядя в спину Александра Васильевича. Брюки, пиджак и фуражка — все было обрызгано мелкими каплями болотной жижи. Братцев знал, как столбами из-под буксующих колес летит болотная вода, а подсыхая, оставляет на одежде сероватые пятна, будто въедается в ткань, и убрать ее можно только стиркой. «Досталось опять! — думал Братцев.— Все торопятся, тащатся напрямик». Он опять посмотрел на Александра Васильевича, который обходил блок, поправляя красный лоскуток, обозначающий габариты груза.

Время подходило к полудню, хотя рассвет по-настоящему не наступал. Солнце

вроде силилось прорваться через нависшую над землей толщу серой мглы, но так и не смогло показаться, оставив на произвол судьбы еще один хмурый день.

Они побывали на трех строительных площадках, и Братцев остался доволен работой бригад. От долгой езды у него стучало в висках, тяжелели веки, и он волей-неволей закрывал глаза.

Обратная дорога всегда кажется короче и веселее, а когда из-за лесного мелколесья показались красные языки сгоравшего попутного газа, он определил: до города остается час езды. Красные полотнища огня трепетали на ветру, метались из стороны в сторону, словно подземный Змей Горыныч не знал, куда послать свою дикую силу. Газ, зажатый в высокую стальную трубу, издавал грозный рев, огонь опалил вокруг кустарники, зачернил кочки, высушил болотце. Бетонка в этом месте имела свои особенности: зимой здесь никогда не было снега, весной и осенью над ней сгущался туман, и шоферы сбавляли скорость.

Расставшись с Брючиным, с рабочими бригад, Братцев думал о работе вышкомонтажников, которую по сути своей трудно сравнить с любой другой. Пожалуй, не найдешь ни одной отрасли производства, когда сооружение, принятое с оценкой «отлично», буквально через три-четыре месяца приходится собственными руками демонтировать, грузить, перевозить и начинать все сначала. Потом думал о том, что сегодня наступил октябрь — начало последнего квартала, о неподписанном Охапковым акте. Конечно, не все зависело от желания Охапкова. У Братцева хватило бы власти распорядиться, дать команду начальнику инженерно-технологической службы поправить дело. Но как тогда быть с авторитетом старшего прораба? Ведь он прав.

Надо когда-то начинать рубить концы рвачеству, убеждал он себя. Будет так, как есть. Месячный план не выполним, а квартальный готов. Дополнительная буровая Иванникова была резервом. Он представил чуть побледневшее лицо партийного секретаря Шумилова, бегающие глазки и охи начальницы планового отдела, громовой бас начальника технологической службы, жаждущих немедленно наказать Охапкова за такой сумасбродный, необдуманный поступок. Выходка Пашки Боброва для многих казалась шалостью избалованного сынка. О ней говорили, похохатывая.

Братцев решил по-другому. Он предложил на расширенном заседании технического совета показать всем, как вдумчиво и добросовестно работал старший прораб Охапков. Как напряженно трудилась вся бригада и что поступок Охапкова не что иное, как крик души, крайняя мера. «А сможет ли сам Охапков доказать это? Хватит ли у него умения?» — подумал Братцев, подъезжая к управлению.

Вчера он попросил в отделе кадров личное дело старшего прораба Охапкова. Папка была тоненькая, с заявлением, листком по учету кадров, автобиографией и дипломом с красной корочкой.

— Почему не копия? — строго спросил Братцев Марию Ивановну, которая, как привязанная, топталась возле стола, поскрипывая подошвами нарядных туфель.— С таких дипломов следует копии брать, а они как гордость пусть хранятся у самих владельцев. Вы видели у кого-нибудь из наших работников диплом с красной корочкой?

Мария Ивановна смущенно пожала плечами.

— Оставьте дело у меня.

С фотографии на Братцева смотрело лицо белобрысого паренька в больших не

по размеру очках, надетых будто для того, чтобы шире смотреть на мир открытыми, но подслеповатыми глазами. Узкоплечий, в черном костюме с широким галстуком под белым воротничком. Братцеву показалось, что во время фотографирования Охапкову хотелось казаться солидней и он вытянул шею, приподнял подбородок. Братцев размышлял над тем, как этому пареньку удавалось учиться на круглые пятерки. Автобиография на пол-листка, но, пробежав взглядом, Братцев прочитал: мать — раньше учительствовала, теперь инвалид труда. Отца нет. Братьев и сестер нет. «Ох ты Охапков, Охапков!» — проговорил Братцев, отодвигая в сторону папку. Он еще долго сидел, представляя волнение старшего прораба перед техническим советом, думал о вопросах, которые будут задавать специалисты вышкостроения, предположил, какими они могут быть каверзными, но твердо решил Охапкова поддержать.

По обыкновению, технический совет вел главный инженер, и присутствие Братцева многих насторожило.

Бобров третий день жил как во сне, не в силах понять, что происходит. Обычно во всех острых вопросах все решалось быстро, а в этот раз с ним почему-то никто не говорил, не беседовал, и неопределенное состояние было как наказание.

На технический совет пришел первым. Ему показалось, что все смотрят на него как-то по-другому, переговариваются. Заметил и то, что рядом нет дружков, которые раньше тянулись за ним хвостом. «Мерзкая все-таки жизнь», — раздраженно думал он, поднимаясь по деревянным ступенькам в просторный зал клуба. Все кресла были пустыми. Пашке вспомнился день,

когда они приезжали сюда бригадой получать переходящее Красное знамя. Тогда здесь гремела музыка, было многолюдно, шумно и торжественно. Он сел на крайнее кресло, обхватил ладонью подбородок, на котором ныл шрам. На панно, выполненном чеканщиками, в полный рост стояли фигуры широкоплечих мужчин. Они держали в руках гаечные ключи, молотки. Голова одного была поднята вверх, нога чуть приподнята в шаге, и было такое впечатление, что он вот-вот шагнет в зал. Пашка непроизвольно усмехнулся, залюбовался мастерством чеканщика, и ему показалось, что в немых, остановившихся мгновениях вышкомонтажников он видит своих товарищей, и ему надо немного времени, чтобы вспомнить фамилии этих парней.

— Вы, товарищ, из чьей бригады? — спросил его человек не юношеских лет, присаживаясь к нему. Это был заведующий клубом Сережкин.— Из чьей вы бригады? — опять спросил он.

— Из охапковской,— не без труда выговорил Пашка.

— Вот и хорошо.— Сережкин поерзал на стуле, потер большие ладони. Губы его чуть заметно шевелились, будто он подбирал трудные слова.— Вы не скажете, что там у вас стряслось? Чествовать бригаду собрались, сценарий расписали, а вдруг — отбой. Вот наказание! Столько сил потратили, столько людей от работы оторвали. Добровольно в клуб никого не заманишь. Так у вас там все живы-здоровы?

— Все нормально! — нехотя ответил Пашка, намереваясь встать. На лестничной площадке послышались разговоры, и кто-то окликнул Сережкина. Он заторопился, пошел к выходу семенящей, шаркающей походкой. Виляя хвостом, в зал забежала рыжая собачонка, обнюхала ножки крайних

кресел, подбежала к Пашке, скосила набок косматую голову, уставила веселые глаза, как бы спрашивая:

«Ну как поживаешь?» Пашка притопнул ногой, отогнал собачонку. Не оборачиваясь, узнал по походке преданного дружка Прокопенко, представил, как он идет, распахнув пиджак и куртку, тараня пространство животом, который все называли маслобаком. Пашке не хотелось, чтобы Прокопенко или кто-то другой садились к нему, докучали своими разговорами, но знал, что они будут тут, потому что привыкли жить под его покровительством. Прокопенко сопел вечно простуженным красным носом, шумно сморкался в большие носовые платки, которые рассовывал по всем карманам и с получки покупал по две дюжины.

— Слышь-ко,— заговорщически сказал он,— Братцев-то пошумел на Охапкова, а потом самолично звонил буровикам и настаивал ни в коем разе не подписывать акт прошедшим числом. Пусть, говорит, будет так, как есть! Это мне доподлинно передали надежные люди.

— Ну и правильно!

— Чего правильно? Ведь все ускорение зарежется. Фигу получим, а не тариф, как ты обещал.

— А за что тебе ускорение? — спросил Пашка. Прокопенко поперхнулся, откинул голову на спинку сиденья, будто кто-то ударил его в подбородок.— Голову свою на плечах носить надо!

— Ничего заявочки! — прохрипел Прокопенко, заматерился.— Тебе смешочки, а мы ходи с пустым карманом.

— Давай песку насыплю.

— Тебе это так не пройдет. Ребята тебя в покое не оставят.

— Проваливай, ты, мизгирь! — сердито прикрикнул Пашка и отмахнулся от него ру-

кой, будто отогнал от лица надоедливого комара.— Пристал, как банный лист. Своим кочаном думать надо, а то мозги заплесневели. Снаряды и то не все взрываются, холостыми иногда вылетают.

Прокопенко умолк. Пашка представил, как блестят его зеленые навыкат глаза, трясутся от невысказанного матюга толстые красные губы.

В зале становилось многолюдно, заскрипели кресла, половицы пола, поскрипывала висевшая на одном шарнире створка форточки.

Через зал легкой походкой, будто подпрыгивая, шел Охапков. Густая шевелюра светлых волос при каждом шаге вздрагивала на макушке, волосы сыпались на лоб, касались роговых дужек очков. Подойдя к столу, он положил сверток ватмана и, перекинувшись несколькими словами с главным инженером Хомайко, стал развешивать чертежи.

Пашка наблюдал за ним с напряжением, с нескрываемым любопытством и даже завистью. На чертеже сразу узнал изображение экспериментальной вышки, по сути дела, их вышки. Он знал в ней каждый блок, каждое соединение, она была дорога ему нисколько не меньше, чем Охапкову.

— А Охапкова не узнать. Прямо на крыльях летает.

— Да замрите вы! — раздраженно прицыкнул Пашка на дружков.

Чтобы успокоить Пашку, Прокопенко примирительно-вкрадчиво проговорил:

— Это еще послушать надо, как он чирикать станет.

— Христом тебя богом прошу, Прокопенко, замри! Замри, как мышь, и чтобы ни гугу. Понял?

— Припадошный,— не то послышалось, не то в самом деле сказал Прокопенко.

Пашка трясущимися пальцами достал из пачки сигарету, приклонясь к сиденью, сделал глубокую затяжку, медленно, через нос выпуская струйки дыма.

Братцев сидел на сцене за длинным столом. Упершись локтями, положил на ладони тяжелый квадратный подбородок. Из-за густых черных ресниц, тяжелых век трудно было разгадать, на кого он смотрит. В зале стояла непривычная тишина, какая бывает перед неловким разговором.

— Тогда начнем,— без предисловий и обращений сказал Хомайко, при этом кинув взгляд на развешанные Охапковым чертежи.

Охапков только и ждал этого — вмиг очутился на трибуне, но говорить сразу не смог, а снял очки и стал протирать их носовым платком. Только через минуту послышался его приглушенный голос.

— Первый блин, как говорят, бывает комом,— начал он.

От этих слов Пашка сощурился, втянув голову в плечи.

— Громче! — кричали с задних рядов.

— Начну по порядку,— припадая губами к микрофону, сказал Охапков.— Схема четкая, работать по ней легко. Были незначительные отклонения, так мы их решали сразу, в рабочем порядке. Лучше, если насосный блок будет весь в сборе. Здесь можно сэкономить время. Мы примеряли. Блок в сборе свободно проходит через линию электропередачи без надобности в отключении. Мое твердое убеждение, что при такой сборке и компоновке блоков бригада, не только наша, а любая, может монтировать буровую за пятнадцать дней.

В зале послышался говор.

— Про ящики не забудь сказать! — крикнули с места.

— Да-да. Были перепутаны все ящики,

полная неразбериха в этом. Пришлось искать их по всему месторождению — тоже потеря времени. Но могу доложить, что буровая построена в срок.— Охапков подошел к развешанным чертежам и стал подробно, четко и ясно характеризовать каждый блок и с точностью до минуты затраченного времени на каждое соединение. Он говорил без всяких заминок, высказывал замечания и тут же предлагал, как, по его мнению, лучше сделать, чтобы другие не повторяли ошибок.

Пашка никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так говорил о строительстве буровых вышек. Ему казалось, что Охапков рассказывает какую-то интересную историю из жизни бригады, и чем он увереннее говорил, тем больше удивлялся Пашка тому, как смог этот парнишка раскусить все тонкости вышкостроительного дела.

— Как шпарит,— опять не выдержал Прокопенко.— А по площадке все ходил как прибитый, глаза в землю.

Пашка промолчал. Вроде не к месту вспомнилась поговорка, мол, в трудную минуту любой вышкомонтажник может заменить один трактор Т-100, а Охапков будто песню поет. Но ему было приятно слушать. Он понял, что ничего не знал, не хотел знать, все делал на свой лад, но признаваться в этом было нелегко даже самому себе. «Разве после сборки крупными блоками буровых вышек кто-нибудь будет крестить нас пренебрежительным прозвищем — чурочники? Для таких блоков пойдет техника. Не будет этой мелочевки — не будет поиска болтов и гаек. Все пойдет в комплексе». Пашка не слышал, о чем говорил Прокопенко, что рассказывал Охапков. Он чувствовал, что не может больше сидеть, еще пройдет одна минута и он крикнет: «Молодец, Охапков, молодец!» Ему во что

бы то ни стало надо было успокоиться, пересилить себя. Наклонившись, он опять спрятался за спинку кресла, чиркнул спичку и жадно раскурил сигарету. Он в самом деле глотал горьковатый дым, но не захлебывался, не чихал и не кашлял, а исподлобья щупающими глазами смотрел на Братцева, видел, как он одобрительно кивает головой Охапкову, и на душе у него теплело.

— Я за такую сборку! — почти шепотом сказал Охапков, потому что от волнения у него перехватило горло, он сел рядом с Хомайко и добавил с места: — Знаете ли, сплошная экономия. На всем, без исключения!

— Ваша буровая еще не сдана! — крикнули с места.

— Это другой разговор,— ответил Охапков, поправляя на переносице очки.— Мы о строительстве говорим. Так, кажется, вопрос поставлен? — обратился он к Хомайко.

— А навару много получите от такого строительства? — спрашивали из зала.

— Пока точных подсчетов нет, но вы сами прикиньте. Хорошо получается.

— У них в бочке меда ложка дегтя,— сказал главный инженер.

Пашка вспыхнул, наклонил голову. Он до боли в сердце боялся услышать свою фамилию.

— Все от самой бригады зависит. Ускорение, как вы сами понимаете, немалое, но в бригаде Охапкова они сами потеряли.

— Как потеряли? — закричал с места Прокопенко.— Все об рекорде говорили, а как про ускорение — так потеряли.

— Вы его в домино проиграли, а заодно и нас прихватили! — крикнул на Прокопенко Хвыля.

Тут Пашка не вытерпел, не было у него никаких человеческих сил молчать. Поблескивая глазами, встал. Он шел к трибуне

не торопясь, остановился возле щита с чертежами буровой вышки, потоптался.

— Давай, Павел Маркович, давай! — слышались тихие голоса дружков.— Давай.

— По строительству буровой Охапков сказал все верно. От себя я добавлю: сборку станков надо увязывать с площадкой и вносить в чертеж, по которому работаем и в которых так здорово разбирается наш старший прораб. А так все нормально, я тоже за такую сборку! — Он помолчал в замешательстве, встал напротив Охапкова, потянувшись через стол, крепко пожал ему руку. Охапков согнулся над столом, снял очки, словно боялся, что они упадут, в глаза, казалось, неожиданно брызнуло солнце. Раздались громкие аплодисменты.

— Так мы же ускорение потеряли! — закричал Прокопенко.

— Это наше бригадное дело,— остановил его Охапков.

Пашка шел через весь зал к двери и чувствовал, как у него подкашиваются ноги. Шел по узкой улице, будто хотел убежать от собственной тени, которая маячила в стороне. Он думал об Охапкове, который ни разу не упомянул его фамилию. «Может, в молчании и есть вся сила Охапкова»,— думал он, дрожащими пальцами расстегивая на рубахе верхнюю пуговицу.

Глава одиннадцатая

Юрию показалось, что Леонид Нечаев вернулся из отпуска в самое нужное время и что сейчас он поможет ему одолеть то странное состояние, которое не покидало Юрия весь месяц, прожитый в Самозерье.

С остановки несся, обгоняя прохожих. Без стука открыл дверь, увидел сразу обоих Нечаевых и от радости не знал, что сказать

в первую минуту. Нюра обняла его, схватила за руку, повела, как маленького, в кухню, где пахло печеными пирогами, грибами. На столе стояли банки с вареньем, в большом тазу лежали соленые хариусы.

Леонид улыбался, смотрел на Юрия, на Нюру, потом подсел к ним поближе и, как бы извиняясь, спросил:

— Ну, как ты тут?

Юрий посмотрел на него, не зная, с чего начать, и смутился: в прищуренном взгляде, в глубокой морщинке на лбу, в нервном, чуть заметном движении губ Леонида таилась тревога, которую он не мог скрыть.

— Глаз-то у тебя со стороны острее,— стараясь быть спокойным, наконец сказал он, обтирая руки холщовым полотенцем.

— Дай парню опомниться. Сразу же со своей работой.— Нюра в широком цветастом халате расхаживала вокруг стола, довольная, перекладывала с места на место разные сумки, кульки, банки.— А это тебе мать послала.

Увидев синий мешочек с орехами, Юрий вспомнил, как мать ходила в магазин за сахаром, как пришивала к мешочку узкую тесемку, чтобы не искать каждый раз новую.

— Вот и пер это, как буйвол,— недовольно сказал Леонид, рассердившись в душе, что своими разговорами жена перебивает его.— Машину-то дома оставили. Куда ее сюда? Да и дороги раскисли. Так она меня нагрузила, как могла,— пожаловался Леонид.— Руки гудят, словно и не мои.— Леонид сморщился, пытаясь поднять руку, искоса взглянул на Юрия, спросил:

— У кого в бригаде?

— У Охапкова.

— У него? — вздохнул Леонид, неловко повернулся на стуле.— Хорошая бригада. Бригадиром раньше Бобров был. Большой мастер своего дела.

— А он, быть может, только и знает свое дело, а так... с завистью человек,— ответил Юрий, совсем не замечая, как у Леонида, уловившего в этих словах кровную для себя обиду, вспыхнуло лицо.

— Это ты про кого так говоришь? — спросил Леонид.

— Да про Боброва. Оставил в этот месяц бригаду без ускорения и еще ходит гоголем — ни стыда, ни совести.

— Ты обожди. Говори, да не заговаривайся,— закуривая, сказал Леонид.— Пашку на мякине не проведешь. Он дело знает.

— А его, быть может, завидки берут, что у Охапкова дела идут неплохо. Другие бригады по две буровых в месяц сдают, а он все свое гнет. Не руками, а горлом взять хочет.

Лицо Леонида уже покрылось красными пятнами. Он жадно докуривал папиросу, не замечая, что слабый огонек добрался до мундштука.

— Как я послушаю, ты слишком много знать стал,— сухо ответил Леонид.— Чего твердишь: две буровых, две буровых. А выгода какая?

— Вот Пашка тоже: выгода какая? Выгода какая?

— Погоди, погоди. Ты тут со своим уставом не лезь. Рановато еще,— перебил его Леонид, облизывая пересохшие губы.— Ты думаешь, так легко две буровых в месяц построить?

— Строят другие. Передвижки убрали, демонтажи убрали, буровую собирают отдельными блоками. Бригада Иванникова сдала две, хотя у них нет таких асов, как Бобров. А на техническом совете Охапков все разложил по полочкам. Дураку только не ясно, что можно сдавать по две буровых в месяц. Сам Пашка же согласился. Против фактов — никуда.

— Погоди,— снова остановил его Леонид.— Вот что я тебе скажу: ты соображай. Один-два раза в году можно построить по две буровых в месяц. Как тебе сказать: рекордные, для рекламы. А чтобы каждый месяц — не выходит.— Леонид говорил так тихо, будто не был уверен в своих словах.

— Старо,— ответил Юрий.

От неожиданного разговора с Юрием Леонид растерялся, ошеломленный, сидел на стуле, не зная, что еще ему ответить.

Юрий неожиданно развеселился:

— Неужели ты, Леонид Петрович, в самом деле так думаешь? Пашке простить можно. Он, может, недопонимает, а ты-то...

— Яйца курицу не учат! — вскочил Леонид со стула.— Да этого нельзя делать! Завтра же строительство двух буровых в месяц станет нормой, падут расценки, ограничат выплаты по ускорению.

Увидев встревоженного мужа, Нюра тоже насторожилась.

— Лень, а Лень. Будет тебе о своей работе говорить. Только парень переступил порог, а ты уже о делах. Чего распылился? Вот выйдешь на работу и все узнаешь,— успокаивающим голосом говорила она, накрывая на стол.

— Завтра же в управление пойду,— ответил Леонид.

— Не выйдет, дорогой человек,— стараясь сохранить игривость в голосе, сказала Нюра.— Ты обещал мне еще ягод пособирать. Вон сколько брусники да клюквы люди тащат.

— На кой черт мне твоя брусника и клюква сдались! — в сердцах Леонид заходил по комнате. Он сразу как-то отяжелел, взгляд стал отчужденным.— Налетели тут стрижи,— процедил сквозь зубы,— все сразу видят, все знают, и никакой скромно-

сти.— Он вдруг вспомнил старшего прораба своей бригады Макрушина, и ему стало не по себе.— Да неужели я допущу, чтобы этот молокосос, наш Макрушин, стал указывать мне? Да я его...

— А для чего его тогда ставили? Вокруг вышки бегать, что ли? — спросил Юрий.

— А нечего делать, вот и поставили. Навезли сюда всяких дипломированных сосунков.

— Сам же говорил, Леонид Петрович, что станки пошли новые и технология строительства стала другая. Если уж так обидно — поезжай на курсы. Я знаю — желающих отправляют...

Терпение Леонида, видимо, кончилось. Не в силах до конца выслушать, он заорал:

— На-ко вот, выкуси! На этих курсах только среднемесячный оклад платят, а по приезде все одно в вышкарях будешь ходить.

— Лень, а Лень! Ну чего уж ты так? — сквозь слезы сказала Нюра, поглядывая на Юрия.

— А жила бы ты королевой? Ездила бы на машине, если бы я слюнтяем был? Нечем было бы тебе за какой-то косматый парик по полторы сотни платить или по три кольца на одну руку напяливать!

— Не нужны они, эти деньги! От них одно только зло. Жили без них и теперь живут. Что, дома хуже нашего жить стали? Да ни капельки! Скотину все держат, сено еще литовками косят...

Успокаивая себя, Леонид представил родное село, страдную пору, когда над травами вдоль полноводной Горностайки проносятся гулкие голоса косарей, как звенят литовки под неумелыми ребячьими взмахами, рассыпая по всему прокосу подкошенную траву. Тучами кружится мошкара, лезет в глаза, уши. Едучий дым из жестяной

дымокурки, привязанной веревкой у пояса, слезит глаза, разгоняет гнус. И бегут они домой с покоса, радым-радешеньки теплой кружке молока, и млеют от ласкового материнского взгляда. И ничего-то никому не надо, кроме доброго слова. Казалось, что всего в достатке. «Куда все ушло? Где все потерялось? Почему я стал жить, как загнанная в беге лошадь?» — думал Леонид, не поднимая головы. Юрий словно угадал его мысли:

— Время сейчас горячее. Жить по-старому нельзя.

— Это уж точно,— вздохнув, ответил Леонид.— Несемся как угорелые. Без остановок и перекуров. Вот на этом месте, где наш дом стоит, еще три года назад болото болотищем было. Всего три года! За это время ребенок только-только слова как следует выговаривать научится, а мы город какой отгрохали. Промысла какие обустроили. Разве кто поверит? Я тут от первого колышка. Мне тут все дорого и все жалко. Я вот на этом месте сапоги в грязи потерял.

Леонид прикоснулся ко лбу широкой ладонью, сдавил виски, закрыл покрасневшие глаза.

— Ты что это, Леня? Опять давление поднялось? — с дрожью в голосе спросила Нюра.— Что лоб-то зачесал? Виски давишь? Не успели через порог переступить. Менять этот климат надо,— говорила она.— Я сейчас резерпину принесу — начнешь принимать по таблетке в день.

— Чего только эти бабы не знают. Ну как послушаешь, так каждая академию заканчивала,— сказал Леонид, не открывая глаз. Нюра приметила правильно. При очередных волнениях Леонид всегда ощущал тяжесть во всем теле, слышал, как дятлом стучит в висках кровь, как подкатывает к

горлу тошнота. И хотя в разговорах с врачом он пожимал плечами, удивляясь, где мог приобрести эту болезнь, в душе признавался, что угробил свое здоровье в первый год по приезде сюда, когда все было нипочем. В ушах жужжали слова Юрия: «А что, Макрушин возле вышки бегать станет?» Он понимал справедливость сказанных слов, но не мог поверить, что все так круто меняется и что волей-неволей ему приходится уступать. Пытаясь найти истинную причину всему, Леонид ясно сознавал, что мысли его сбегаются к Братцеву.

Глава двенадцатая

Дни летели, будто наплывали один на другой, торопили зори. Казалось, сдана буровая — все самое сложное позади, а на очереди ждала другая — тоже самая нужная, самая главная. И не было ни у кого тихой, спокойной жизни.

Братцев, распорядившись не производить выплаты за ускорение всей бригаде Охапкова, испытывал неловкость, хотя был убежден, что это поможет молодым прорабам не начинать свою деятельность с подтасовок, мелких приписок, которые станут привычными, и, не ощутив радости окончания работ на одном объекте, они станут из месяца в месяц ходить с протянутой рукой, просить заказчиков дописывать потерянные дни. Но несдача в срок экспериментальной буровой сказалась на результатах месячного плана всего управления. Многим думалось, что Братцев поторопился, изменит свое решение.

Утренняя разнарядка начиналась ровно в половине восьмого. К этому времени Братцев всегда был за рабочим столом, посматривал на часы, стоявшие на полке рядом с

почетными грамотами управления и двумя кубками, завоеванными командой вышкомонтажников в футбольных играх.

Главные специалисты усаживались за длинный стол, готовые ответить на любой заданный вопрос.

Зазвенел телефон.

— Да, да — ответил Братцев. Густые брови сдвинулись к переносице, взгляд стал сосредоточен. В трубке глухой кашель, и по нему Братцев узнал Храпова — начальника управления буровых работ. Представилось чванливое, капризное лицо с тяжелой нижней челюстью и жирным подбородком.

— Слушай, до каких пор это будет продолжаться? — кричал в трубку Храпов.— Почему до сих пор не сдаете восемьдесят четвертую буровую? Вы понимаете, что делаете? Это вам не шутки. Простаивает бригада не Иванова или Кускова, а Героя Социалистического Труда. Вы думаете об этом? Или считаете, что у вас две головы?

— Восемьдесят четвертая площадка резервная, и мы не намерены ее сдавать.

— Да Логинов, Логинов в простое. Это вы понять можете?

— Ты его авторитетом нас не дави. Логинов, если верить вашим сообщениям в печати, пятилетку заканчивает, а вышечники на пределе работают.

Храпов с минуту помолчал, как бы собираясь с духом.

— Что вы...— послышалось было в трубке, но Братцев резко перебил начальственный окрик Храпова:

— Вам давно пора освободить под строительство двести седьмую площадку. Дать нам фронт работ, а не сдерживать перевозку оборудования.

Длилась долгая пауза, и наконец послышались отрывистые гудки.

Братцев понимал: разговаривая так рез-

ко, он затронул самолюбие человека. Храпов жил старыми традициями, привык гнуть и ломать по-своему. Первые руководители вышкомонтажников — его бывшие работники — в силу привычки считали, что Храпов лучше их знает, что делать, а в случае срывов всегда могли спрятаться за его широкую спину. Теперь, когда приехал Братцев и крепко взял в руки правление, Храпов не мог смириться и откровенно навязывал свои условия.

Разговор по телефону казался Храпову неслыханной дерзостью. Оставлять его без внимания было не в его характере. Но наказать Братцева он не мог, оставалось одно: звонить в главк.

Братцев долго не клал трубку, ошарашенный назидательно-требовательным тоном Храпова, затем, извинившись, закурил и сказал густым, спокойным голосом:

— Докладывайте, товарищ Драчев.

Худощавый, с бледным лицом, с тонкими волосами до плеч, начальник центральной диспетчерской службы Драчев начал докладывать о состоянии дел в бригадах. Говорил тихо, еле слышно, будто у него не хватало сил говорить громче, а нетерпеливый Арапов, долго напрягая слух, не выдержал, крикнул: «Громче!»

Драчев поднял голову и громко выдохнул:

— Двести сорок седьмой «куст». В первую смену работало четырнадцать человек. Во вторую — одиннадцать. Простоев три часа из-за отсутствия пропана. Сегодня там нужен брус.— Снова голос Драчева стих, и он перешел на шепот. Арапов сморщился, подставил, как глухой, ладонь к уху.

— На девяносто первом «кусту» бригада Иванникова бездарно потеряла время. Сводка подана неверно. Во вторую смену работало четыре человека, записано восемь. Я был там ночью.

Братцев посмотрел на старшего прораба Иванникова.

— Разберусь,— ответил тот, стараясь не перебивать Драчева.

— Ночью на восемьдесят четвертый ездил, по пути заглядывал к ним.

Братцеву нравился Драчев: неуклюжий на вид, он был грамотным инженером. Казалось, что говорит он мало и тихо оттого, что взвешивает, обдумывает каждое слово.

— Иван Аркадьевич, возьмите трубку, звонят из главка,— приоткрыв дверь, сказала секретарша.

Звонил начальник главка Никита Михайлович Ласточкин. Поздоровавшись, спросил, как обстоят дела с доставкой грузов, торопил командировать представителя в Москву за получением колес для изготовления большегрузных тележек, узнал о готовности встречать баржи, груженные новыми станками, и как бы между прочим осведомился, как обстоят дела со сдачей восемьдесят четвертой буровой.

Братцев понял, что Храпов успел позвонить в главк.

— Восемьдесят четвертая — наша резервная,— ответил Братцев.— Мы идем в зиму.

— Восемьдесят четвертую надо сдавать буровикам. Вы ставите под угрозу планы бригады Логинова,— послышалось в трубке.— В конце концов, мы смотрим не только на выполнение плана, но и на выполнение графиков.

После долгого молчания Братцев сказал:

— Сделаем... И еще, Никита Михайлович, я собирался вам доложить, что план этого месяца мы не выполнили. Не сдали в обещанный срок экспериментальную буровую.

О чем говорил Ласточкин, стало почти

не слышно — из трубки доносился треск.

— Да, я посчитал, что так нужно по очень важным причинам. Хорошо. Будем ждать.

Разнарядка продолжалась. Разговор с Ласточкиным снял неловкое напряжение. Стало ясно, что и в главке знают о принятом решении Братцева.

У начальника главка Никиты Михайловича Ласточкина ежемесячные поездки по северу области были строго запланированы. Он не откладывал их ни под каким предлогом, и руководители предприятий привыкли к его визитам: готовили обстоятельные доклады, вносили предложения, решали на месте разные дела и неурядицы.

Этот седой большеголовый человек с густыми, словно приклеенными черными бровями покорял всех своей феноменальной памятью, большой эрудицией и знанием дела. Имея ученую степень доктора наук, звания лауреата Государственной и Ленинской премий, Героя Социалистического Труда и много других титулов, был прост и внимателен в обращении и, как говорили, всю жизнь помнил, чем пахнет земля, поскольку начинал свою биографию с рядового бурильщика. Знали и другое: среди сотрудников есть у него сынки и пасынки. Попасть к нему в сыновья было делом нелегким. Ценя в человеке деловые качества, он любил людей смекалистых. На похвалу был скуп, но однажды сказав о человеке доброе слово, потом оказывал ему всяческую поддержку, умел прощать мелкие огрехи и проступки — отбрасывал шелуху от зернышек.

Под его счастливой звездой жил Храпов. Братцеву на этот счет не повезло. Во время первого знакомства он имел неосто-

рожность высказаться нелестно в адрес управления буровых работ, где, по его мнению, работают по старинке, бездумно усложняют монтажную схему строительства буровых вышек. Правда, во время его доклада Ласточкин делал в блокноте пометки, а когда Братцев закончил, попросил оставить доклад по анализу работы бригады Иванникова.

— Любопытно,— сказал тогда начальник главка, а Братцев еще добавил:

— По капризам буровиков и из-за ничем не обоснованного нежелания разобраться мы строим целую фабрику с ненужными затратами.

— Если надо будет строить целый завод — будете,— оборвал его в тот день Ласточкин.

По прилете в Самозерье начальник главка остановился в гостинице, выстроенной на берегу Оби, среди сосняка, по типу канадских коттеджей.

Попасть в эту гостиницу практически было невозможно. В ней останавливались, как правило, работники министерств и главков или изредка прилетавшие писатели, композиторы, кинорежиссеры, художники. Все это хорошо: края здешние дальние, условия необычные — грязь, комарье, непогодь, а гостей по-хозяйски встречать надо. Но даже и тогда, когда таких именитых гостей не было, неизвестно почему в нее никого не пускали.

Правда, Алешке Глухих, журналисту из районной газеты, удалось однажды перехитрить администраторшу. И помогла ему в этом одна-единственная деталь — японская этикетка на отечественном фотоаппарате «Зенит-4» да внешность — парень он был модный.

От удивления администраторша ойкнула, когда к телефону ее попросили позвать га-

зетчика Глухих. Она долго и пристально смотрела на него, но стоило Алешке положить трубку, строго сказала:

— А у нас в коридоре переобуваются. Вон, видишь, тапочки стоят.

— Это для именитых, а мы тутошние,— ответил он и, озорно подмигнув, гордо ушел в свой номер.

Ласточкин останавливался в первом номере, занимающем четверть второго этажа. Посередине большой комнаты стоял стол, возле него зеленые мягкие кресла. В этот зал приглашались руководители предприятий Самозерья, которые, узнав о приезде начальника, никуда не отлучались, а секретарши в ожидании звонка от Ласточкина не рисковали выходить из приемной.

К обещанному приезду Ласточкина Братцев готовился. Он считал, что пришло время для серьезного корректирования планов. «Мы выполняем годовой план, буровики за это же время подходят к выполнению двухлетних заданий. За счет чего? Не только за счет скоростей, а прежде всего за счет получения новых буровых станков. Под строительство сверхплановых буровых нужны средства, создание новых бригад, увеличение техники»,— рассуждал он и был готов отстаивать эту точку зрения.

К Ласточкину его пригласили во второй половине дня. Шофера, Николая Петровича, в машине не оказалось. Уставши ждать, он ушел в механический цех исправлять трос, но, услышав отрывистые сигналы, выскочил, обтирая на ходу руки о пучок пакли. Подбегая к машине, увидел над головой пару свистокрылых чирков. Поставив ногу на подножку, запрокинув почти на спину голову, засвистел, сложив губы в трубочку. Чирки будто услышали его свист, приостановились, замахали крыльями на одном месте и — полетели в сторону реки...

В зале все стулья были заняты.

— Проходите, товарищ Братцев. Возле меня есть свободное место,— сказал Ласточкин, улыбнувшись одними глазами.

Выступающие докладывали о выполнении планов и социалистических обязательств, говорили о подходе оборудования, о нехватке рабочей силы.

Храпов, как всегда, начал свой доклад с рекорда бригады бурового мастера Логинова. Доложил, что на днях чествовали бригаду по случаю восьмидесятитысячного метра проходки, что о ее успехах рапортовали в главк. При этом он все время смотрел в сторону Ласточкина. Заметив, что тот слушает его без особого внимания, остановился, отхлебнул из стакана воды и продолжал:

— Здесь будет уместным сказать: вышкомонтажники последнее время связывают нас по рукам и ногам. По их вине у нас идет срыв за срывом, простой за простоем. Теряем десятки часов в ожидании новых станков.

Ласточкин, слушая Храпова, продолжал рисовать в блокноте буровую вышку.

— Взять хотя бы последний случай. Сдача «куста» восемьдесят четвертого,— продолжал Храпов.— Тут явное упрямство товарища Братцева. Когда это было, чтобы вышкари в резерв строили? — И Храпов нервно засмеялся.

— А как вы умудрились два годовых плана выполнить? — не поднимая головы, спросил Ласточкин.— Где вышки под эти буровые брали?

Храпов, не ожидавший такого вопроса, опешил, но, не снижая тона, ответил:

— Мы умеем изыскивать резервы!

— Давайте уточним. Внесем ясность в разговор. Сколько с начала года вы должны были получить от вышкомонтажников вышек?

— Сто восемьдесят три.

— А получили?

— Получили триста девяносто две.

— Как, по-вашему, вышечники находят резервы?

— Ну, тогда я не знаю,— капризно ответил Храпов.— Мы, понимаете ли, рекорды ставим, а нам будут вставлять спицы в колеса.

— А знать надо. На то мы тут и сидим. Надо уметь считаться не только со своими трудностями, но и с работой своих смежников,— сказал Ласточкин и тихо добавил: — Потрудитесь объяснить такое: за счет усложненной схемы буровой затрачено сто четыре человеко-дня сверх нормы и продолжительность строительства увеличилась на три дня. Для чего, к примеру, вам понадобилось две дополнительных емкости на девяносто первом «кусте»? А на другой день вы распорядились их убрать. Это же партизанщина. Правильно товарищ Братцев ставит вопрос: надо монтировать буровую, а не строить. Они тоже ищут резервы, а вы разводите чеченский базар — такое хозяйство за трое суток с площадки не вывезти.— Ласточкин говорил тихо, но при каждом его слове Храпов вздрагивал.— Все предложения вышкомонтажников по упрощению схемы монтажа буровой предлагаю совместно рассмотреть в течение этой недели и доложить на техническом совете главка. Вы, товарищ Храпов, бросьте спекулировать фамилией мастера Логинова. Я был у него сегодня на буровой. Не вводите нас в заблуждение. Вам пока верят.

Честно говоря, Братцев не думал, что все так круто поверкется. Передавая на предыдущем совещании свои соображения, он не предполагал, что их так тщательно станут анализировать. По нескольким фразам Ласточкина было ясно: в главке серь-

езно разобрались с его анализами, направленными на скоростное строительство буровых.

Надевая пальто, он услышал свою фамилию. Один из сотрудников главка приглашал зайти к Ласточкину.

Последнее время Ласточкин часто стал слышать от буровиков фамилию Братцева. Он не мог припомнить разговора, где бы не были задеты вышкостроители, и это раздражало начальника главка. Его разговор с Храповым по телефону показался Ласточкину дерзостью, тем более что речь шла не о чем-нибудь, а о бригаде бурового мастера Логинова, которая была известна своим скоростным бурением в стране, и ей была открыта «зеленая улица». Он попросил серьезнейшим образом разобраться со всеми доводами, какие выставляет Братцев, чтобы по приезде в Самозерье навести порядок. Получив докладные по анализу работы бригады Иванникова, сведения о строительстве экспериментальной буровой, поймал себя на мысли, что Братцев, пожалуй, один из думающих руководителей. Подкупала его скромность, все, о чем он говорил или докладывал, было выверенным, без всяких оговорок и поправок. В то же время казалось, будто Братцев хотел заслонить собой Храпова, Вазатова, Семигулова, выпестованных Севером, сумевших взвалить на свои плечи трудности первопроходцев.

Перед совещанием объехал буровые, побывал на строительных площадках вышкомонтажников и был приятно удивлен, что все сомнения его напрасны, что Братцев, как он отметил, берет быка за рога. Смотрит вперед с заглядом.

— Мы, Иван Аркадьевич, самым серьезным образом рассмотрели работу бригады Иванникова,— сказал Ласточкин, подви-

гая на столе сахарницу.— Значит, думаете строить, вернее, монтировать по два буровых станка в месяц?

— Есть такая мечта,— ответил Братцев.— Старички, правда, не очень охотно перестраиваются.— Сказав так, он прежде всего подумал о Павле Боброве, имея в виду не возраст, а стаж работы в вышкостроении.

Ласточкин усмехнулся скептически, потому что не любил, когда начинали охаивать старое, не считаться с опытом.

— Они, «старички»-то, самолюбивые. Живут под девизом: семь раз отмерь — один раз отрежь. Опирайтесь на них — не прогадаете. А в целом вы взяли правильный курс. Только так теперь и надо строить работу. Тому, что вы предлагаете буровикам, будет широкая улица. Пусть бурят на здоровье! Пусть имеют в запасе новые буровые. Я чувствую: доживем мы с вами до такого времени.— Ласточкин оперся о подлокотники кресла, прикрыв глаза покрасневшими веками.— А вы, оказывается, тоже давно обручены с Севером? Я вначале думал, что вы новичок.

— Давно,— ответил Братцев.

— Трудно вам? Самозерье — крепкий орешек. Да и народ здесь очень разный, с бору по сосенке.

— Как всем.

— Нет. Таким, как вы, труднее. Перестраивать — не строить.

Они говорили долго. Несмотря на усталость, Ласточкин дотошно расспрашивал о строительстве экспериментальной буровой, автором проекта которой был сам, хотя об этом мало кто знал.

— Значит, сам Бобров и похвалил метод строительства буровой крупными блоками? — откинувшись на спинку кресла, в который раз спросил Ласточкин.

— Так и заявил на техническом совете: монтировать так вышки — одно удовольствие.

— А ускорение все-таки не получил?

— Не получил.

— Ну что, мешать вам не стану. Вы — хозяин, а хозяин, как говорили в старину,— барин.

Он замолчал, удобно провалившись в мягкое кресло, большой, с жесткой гривой седых волос.

Они расстались, когда солнце, большое и красное, повисло на деревьях у горизонта, заливая светом Самозерье.

Глава тринадцатая

После разговора с Юрием Леонид не мог смириться с мыслью, что его закадычного друга Пашку Боброва, который всю жизнь стоял могучим кедром, лицом к ветрам и буранам, вдруг надломило. «Неужто в самом деле подал заявление? — думал он.— Может, Тайка уговорила? А тут еще с Юркой... Беда одна не ходит».

Леонид сел на диван, оперся спиной о стенку и смотрел на коричневые носки, в которых шевелились пальцы от волнения. Мысли перемешались: он то ругал Юрия, то упрекал за горячность Павла. Разболелась голова. Подумав, что спокойствие может прийти только в постели, пошел в спальню. Несколько раз на руках перебросил пуховые подушки, расправил складки и юркнул под одеяло.

— К стенке ложись! — крикнула с кухни Нюра.— Я перед сном почитаю. Наталья книжку принесла интересную. Про бабу одну, как она мужу-дезертиру скрываться от людей помогала.

— Нашла героиню,— буркнул Леонид.

— Она вовсе и не героиня, а может, самая разнесчастная на свете, а была верна ему по-бабски, тиранила себя так, что сердце захватывает. Вот прочитай после меня — узнаешь.

В спальню Нюра вошла тихо, набросила на дверь полотенце, чтобы не стукнула о косяк. Забравшись под одеяло, осторожно жалась боком, боясь потревожить мужа.

— А Юрка-то ершистый какой? Прямо на дыбы! Я ему позабыл про девчонку сказать. Помнишь, перед отъездом приходила? Ну, дочка лесничего, помнишь?

— Марина Журавлева,— нехотя ответила Нюра.

— Вот-вот. А Юрка-то, говорю, какой ершистый? — повторил Леонид, обрадованный ее словами.

— Есть в кого! Сергею-то Афанасьевичу палец в рот не клади. Да спи ты. Надоел со своей работой. То да потому. То да потому.

Леонид спал беспокойно. Всю ночь снилась буровая, для которой не хватало то труб, то болтов, то будто бы перегорел сварочный агрегат, и он, обеспокоенный срывом работ, мечется, ругается со снабженцами, а Пашка Бобров смеется над ним, подзадоривает.

— Вот и вертится всю ночь вьюном,— сонным голосом пробурчала Нюра, натягивая сбившееся под ноги одеяло.

Разбуженный ее словами, Леонид громко зевнул, пытаясь ощутить радость пробуждения, когда мозг еще не успели потревожить мирские мысли. На работу собирался молчком, искоса бросая на жену тревожный взгляд и боясь, что она опять начнет просить его не нервничать, не будоражить душу по пустякам, а приглядеться на все остуженным после отпуска взглядом, что быть звеньевым-то для него, может, и

есть самое подходящее дело. Он досадовал на себя, что в минуты тревог все без утайки рассказывал жене, а когда находил в себе душевные силы, то было уже бесполезно переубеждать ее. Каждое сказанное им слово крепко отпечатывалось в ее памяти, и потом, когда, по его понятиям, ничего особенного не было, она с лихвой возвращала ему его обиды, и он краснел, жмурился, диву давался, какие это были хлесткие слова. Умела Нюра украшать их звонким, гибким голосом. Она не прибавляла и не убавляла, а как-то ставила их так, что звучали они по-особенному. В такие минуты Леонид шумно дышал, каялся и клялся, что «не услышит она от него ни одного сокровенного словечка», но проходило время, и он, не замечая, как это получается, высказывал ей свою боль и заботу. Нюра в такие минуты сидела напротив него спокойно, подперев ладонью подбородок, сжимала губы, чтобы не выронить слова, согласно кивала головой.

— Ну ладно, с богом ступай,— послышался из кухни ее тихий голос, и Леонид понял, что она тоже волнуется.

По приезде на строительную площадку Леонид не зашел в вагончик, а отправился, как это делал всегда, осматривать главные узлы, чтобы прикинуть, на сколько осталось работы до сдачи буровой. Возле манифольдных[1] линий ходил долго, приглядывался. «А ведь лучше стало, что их подняли,— думал он,— легко будет демонтировать. Терять трубы не будем».

— Тебя, Петрович, Владимир Михайлович зовет,— крикнул на бегу Генка Козанец.

Леонид не сразу сообразил, что так по

---

[1] Манифольд (англ.) — система устройств и аппаратуры для запуска и непрерывной, безотказной работы нефтяных и газовых скважин.

имени и отчеству велича́ют старшего прораба Макрушина. «Ишь как? Уже Владимир Михайлович. А Пашка сколько проработал, как был Пашкой, так и остался. Такого молоденького и навеличивать-то совсем не подходит»,— думал он, заходя в вагончик.

Макрушин сидел за столом, рассматривал чертежи. В вагончике было чисто и уютно. У порога лежала сырая тряпка, и Леонид старательно обтер подошвы сапог.

— Раздевайтесь, Леонид Петрович. Разговор у нас с вами будет не минутный. Вы, наверное, слышали, что мы в этом месяце вторую буровую сдать собираемся. Вас ждем со дня на день. Не все ладно и быстро с блоками получается.

Леонид поерзал на стуле, как-то неловко повернулся к старшему прорабу.

— Слышать-то слышал, а только все ли вы хорошо продумали, Владимир Михайлович? Есть ли в этом какая выгода?

— Ждем вас,— будто не слыша слов Нечаева, сказал Макрушин.

— А есть ли выгода какая: сдавать в этом месяце вторую буровую? — переспросил Леонид.

Макрушин положил на стол руки. Они у него были большие и жилистые и, казалось, совсем не подходили к его хрупкой фигуре. Он, прищурив глаза, пристально смотрел на Нечаева.

— Вы шутите, Леонид Петрович? Мы через три дня приглашаем нашу комиссию.

— Через три дня? — удивился Нечаев, подошел к окну, будто хотел снова посмотреть на буровую вышку...

— Мы считаем: если вышка поднята — буровая готова.

— Не получится,— категорично ответил Леонид.— Если, конечно, у людей жилы рвать, работать с надсадой, то можно, но есть ли в этом выгода?

— Про какую выгоду вы говорите, Леонид Петрович? — не поднимая на Нечаева глаз, спросил Макрушин.

Леониду вдруг показалось, что Макрушина подменили: спряталась улыбка, правая бровь переломилась, перед ним уже сидел не щупленький несмышленый юноша, а хозяин буровой.

— У нас, Леонид Петрович, все расписано не по дням, а по часам.

— Люди ничего зарабатывать не будут. Как вы этого не поймете? — не в силах остановить себя, говорил Леонид.— Вы просто тешите свое самолюбие. На следующий месяц у рабочих не хватит сил построить две буровые. Пройдет азарт, будет спад, и они сразу поймут, что передоверились вам.

— Хорошо, товарищ Нечаев. Об этом мы побеспокоимся сами. Идите на свое рабочее место,— сказал Макрушин и сел за свой низенький, обшарпанный стол, на котором Леонид знал каждую царапинку.

«Вот какие ранние пошли. И сказать ничего нельзя,— думал Леонид, идя к буровой и запинаясь о подстылую за ночь землю. Ветер со всех сторон обдувал открытую площадку.— Что же это такое делается? Значит, никем стал Нечаев. Не то чтобы выслушать, а даже разговаривать дальше не стал. Плоховаты дела — ничего не скажешь».

— Разленился после отпуска, еле идешь. А мы тут тебя заждались. Такие дела делаем,— весело сказал Генка Козанец, подхватив на бегу Леонида под руку.

— Ну-ну! — ответил Леонид и пошел к своему звену. Пожалуй, впервые в жизни он не знал, с чего начать работу. «После отпуска всегда так,— старался успокоить он себя.— Лучше бы и не ездил в этот отпуск. Все бы давно притерлось, давно бы со всем свыкся. Ну когда это было, чтобы без меня обходились? Всякий день как одурелый но-

сился. Нет, Нечаев, видно, спета твоя песенка. Видно, лишний или, вернее сказать, ненужный ты тут человек».

В это время на буровую приехала машина Братцева. Начальник, взглянув на буровую, пошел к ней напрямик, не оборачиваясь, высоко поднимая ноги, чтобы не запнуться, но, обернувшись, увидел Нечаева. Остановился.

— Здорово, здорово, Леонид Петрович. Как отдыхалось?

Тут как из-под земли вырос Макрушин, и они пошли, громко разговаривая.

— Задержка может быть только из-за ямобура, который ждем второй день, или из-за нехватки бурового укрытия,— говорил Макрушин.— А через три дня все равно будем сдавать.

— Не торопитесь? — спросил Братцев.

— Ждать нечего. Охапков жмет. Того и гляди, обгонит.

Нестерпимая обида жгла Леониду сердце. Мысли, что он совсем не в ответе за сдачу буровой и вообще ни за что, отнимали силы. «Уйду, и делу конец,— думал он, возвращаясь домой.— Мало ли людей меняют работу».

— Что-то на работе не ладится? — взглянув на него, спросила Нюра. Она встала у порога и не отходила, пока он не разделся.— Ну чего молчишь? По плечам вижу.

— Много ты видишь,— глухо ответил он и долго разувался около порога на табуретке. Не зная для чего, положил на колени портянки и расправлял на них складки.

Глава четырнадцатая

Последние дни Пашка ходил с работы пешком. Дорога не ближняя — километров пятнадцать, но в одиночестве он искал успо-

коения. Гать, когда-то проложенная через болото на скорую руку, служила недолго. Тяжелые машины за одну осень перемололи хрусткие стволы низкорослого сосняка, а когда утонул трубовоз — проезд закрыли. Проложив бетонную дорогу, про гать через год забыли: на прелых бревнах поселился мох-плавунец, болотная ряска затянула проломы. На высоких насыпных обочинах разрослись и все лето буйно цвели красно-сиреневые метелки иван-чая. Проложенная тропка служила пешеходам, чаще всего таким же, как Пашка, когда надо было остаться наедине со своими мыслями и заботами.

Недавние заморозки обожгли листья трав, и, темно-бурые, с подпалинами, они шумели на ветру еле уловимыми таинственными шорохами. Промерзла в застойных лужах вода, покрылась тонким льдом, хрустевшим под тяжелыми сапогами.

Пашка прислушивался к тишине, в которой каждый звук был четко слышен — ухал и катился через болото. Первую половину дороги шел спокойно, размеренным шагом, примечал каждую кочку, останавливался возле низкорослых сосенок, смотрел на исковерканные стволы, пытался определить, сколько лет стоят они в этой сыри, думал о том, как не посчастливилось им. А могли бы их семена попасть в благодатную почву, вырасти могучими, звонкоствольными и быть всегда в золотистой коре. Он срывал колючие хвоинки, брал в рот, перекусывал их, ощущая во рту горьковатый вкус. Зато вторую половину дороги, когда становился слышен грохот машин и тарахтение тракторов, его будто подменяли. Он начинал делать перебежки от одного поворота извилистой дороги до другого, то останавливался, переводя дух, то приглядывался к развилке тропы, не зная, с какой стороны заходить в город.

В последнее время Пашка выходил к старым двухэтажным домам, откуда между балками была прямая тропка к Тайкиной квартире. Замок слабенький, запор — на честном слове, и он без особого труда открывал его отверткой, которую всегда носил за голенищем правого сапога. В квартире у Тайки было чисто. Пашка разувался возле порога, умывался и ждал ее прихода. Ему стало казаться, что Тайка задерживается на работе, не торопится, как раньше. Он даже вспыхнул при мысли, что вдруг кто-то другой окажется рядом с ней, придет, ляжет на этот диван, а она станет хлопотать, заботиться, обшивать, обстирывать, как делает все ему. «Ну уж нет. Такого не потерплю. Голову сверну»,— сердито подумал он, но еще не успел распалить себя, не успел нарисовать картину своего поединка с мнимым соперником, как услышал щелчок в замке. Пашка затаился, потушил папиросу.

— Ты, что ли? — послышался робкий Тайкин голос. Он не ответил. Она, не прикрыв за собой дверь, вошла, осторожно заглянула в комнату.— Чего свет-то не зажигаешь? — узнала его по голове, наклоненной над столом.— Сидишь, как чужой.

— Где долго была? — сурово спросил Пашка.

— Разве сразу отвяжешься? Сразу закроешь дверь? То дай, то принеси, то убери. Что делать? Все есть хотят.

Пашка слышал, как она раздевалась, как бросила на кухне сумку и, не включая света, забежала в комнату, обняла его за шею, уткнула лицо в пахнущую потом густую шевелюру. Тайка ничего не говорила, но Пашка чувствовал, как горячеют ее руки, как сам он млеет от ее молчаливой ласки.

— И не работай. Отдохни. Найдем чего-нибудь полегче,— сказал Пашка, прижав ладонями ее руки.

— Слышала, уезжать собрался? — затаившись, спросила она, не поднимая головы.

Пашка ткнул окурок в пепельницу, по-прежнему крепко прижимая Тайку к себе. Сейчас ему не хотелось говорить о расставании, о том, что он надумал оставить Самозерье, и если бы не она, он давно бы колесил по Северу и нашел бы дело своим рукам.

— Тебе, может, все равно, Таисия? — спросил Пашка.

— Что ты, Пашенька, миленький. Да разве жизнь без тебя будет? После тебя мне на дух никого не надо. Так и останусь теперь. Так и засохну.

— Так и засохнешь? — облегченно вздохнув, спросил Пашка, отогретый ее порывистыми, жаркими словами.— Тут нашим братом пруд пруди.

Тайка приложила ладонь к его губам, прижала, не давая говорить. Пашка не сопротивлялся.

За окном летела иглистая пороша — предвестница первого снега и холодов. В тишине слышалось, как ледяные иголки, ударяясь о стекла, скатываются на землю. Мелкой белой крупой забивает щели тротуаров, настилов, дорожные колеи, будто разрисовывает белой краской. Ветер-верховик с силой срывает с деревьев остатки трепещущих листьев. На горизонте яркими столбами поднимаются языки горящего попутного газа, будто кто-то невидимый расшторивает темное небо и медленно прячет всполохи в глубоких складках густых облаков.

Пашка лежал на диване, прислушивался к шорохам на кухне и в который раз возвращался к мысли, что больше всего в Тайке ему нравится молчаливость и то, что она никогда ничего не требует для себя, живет по своей совести, по своему представлению

о доброте. Он представил, что бы было теперь с ним: сколько было бы перепито водки, переговорено, переругано всех, кто попадал под руку. Тайкина квартира была как убежище, как спасение.

— Сегодня про тебя Леонид Нечаев спрашивал. Зашел в столовую, вызвал и о твоем здоровье справился. Вроде из отпуска приехал, а на лице никакого румянца, да и глаза тоскливые, будто у старика. Может, с Нюркой поссорились — спрашивать не стала. Она ведь больше не хотела ехать сюда,— говорила Тайка, опершись плечом о косяк и вытирая полотенцем руки.

— Значит, приехал,— помолчав, сказал Пашка протяжно и нерадостно, вспоминая, как помогал Леониду Нечаеву стать хорошим вышкарем, потом звеньевым, а после, когда организовалась новая бригада, порекомендовал поставить старшим прорабом.— Только человек пойдет в гору, а его хвать за ногу! — Пашка понуро разглядывал постланные на полу самотканые половики с разноцветными полосками.

В дверь постучали. По условному стуку Пашка догадался, что пришел кто-то из вышкарей.

— Спроси,— шепнул Тайке.

— Павел Маркович,— узнал Пашка хриплый голос Хвыли. Враз вспомнились хлесткие слова, сказанные Хвылей в тот треклятый день. Ноздри у Пашки побледнели, зашевелились. Тайка стояла, ловила его взгляд. Он кивнул головой.

Бородатое лицо Хвыли казалось квадратным, у порога в полутьме каким-то особенным светом сверкали черные глаза.

— Прислали узнать: едешь с нами или остаешься? Говори сейчас, а то желающих много.

— Поеду! — твердо сказал Пашка, как отрубил.

— Ну, тогда я пошел,— Хвыля медленно закрыл скрипучую дверь.

— Где топор? — сорвался Пашка.— Сколько раз спрашиваю: где топор? Прибить эти дурацкие петли на дверях! — Он побежал на кухню, захлопал створками ящиков, но, так и не найдя топора, сел напротив Тайки, которая, закрыв глаза, сидела на табуретке, привалившись спиной к стене.

— Ну чего? Не сидеть же возле тебя! Я уезжаю ненадолго. Можно сказать, совсем рядом, на новую Пуйковскую площадь. Меня сам Братцев просил,— говорил Пашка, ерзая на диване.— Недалеко — всего триста километров.

Глава пятнадцатая

— Чего Леонид-то к тебе приходил? — спросил Пашка после того, как прошли томительные минуты Тайкиного молчания. Он знал, что в такие минуты она крепится и, чтобы не показывать обиды, пытается быть безразличной.

— Чего? — спросила она и очутилась рядом, словно запнулась о половичок, схватила Пашкины руки и спрятала лицо в шершавые ладони. Ему передалось волнение Тайки, он закашлялся, неловко пытаясь освободить ладони.— Зачем Леонид-то приходил?

— Тебя, наверное, искал,— шептала Тайка, приподнимая влажное от слез лицо.— Толком ничего не сказал. Серый какой-то, как хворый. Не сказал, а я по глазам поняла: тебя ищет.

Тайка заметила верно: Леониду нестерпимо хотелось увидеть Пашку, переговорить, посоветоваться и в случае его одобрения махнуть на все рукой и уйти от вышкарей куда-нибудь в другое место. «Рабо-

ты на Самозерье полно»,— думал он, но чем больше рассуждал о переводе на другую работу, тем тяжелее было на душе.

После разговора с Макрушиным все перепуталось в голове, вертелось вокруг одной мысли: уходить, уходить из вышкарей! Уходить как можно скорее, чтоб не тревожить душу, заняться делом, а потом все пойдет чередом — один день придет на смену другому, полетят недели, месяцы... Он даже не заметил, как подошел к столовой. Вроде бы не шел специально, а ноги сами привели. Об этом Леонид подумал, когда потная повариха Любка закричала на всю столовую: «Тайка, выходи. Тя вышкарь спрашиват».

Тут и заметила Таисия Леонида, и показался он ей серым, больным и вообще каким-то жалким. При виде ее Леонид растерялся, спросил как-то вяло: «Павел-то жив-здоров?» — и ушел.

«Уходить? А орден за что получал? — думал он про себя, проходя мимо городской Доски почета. Со встречными здоровался машинально, и были они в этот час все на одно лицо.— За просто так орден не подарят. Не лишку кто ордена да медали за работу получает, а у меня — Трудового Красного Знамени. У нас во всем селе только и получили две медали за труд: председатель Совета Кузьма Данилович да кузнец Астафий Перевертышев. Так им какая почесть! Какая гордость!»

Вспомнилась Леониду родная Горностайка, и река, и огороды, и покосы, и тишина. В Горностайке особенная тишина — каждый комариный писк можно расслышать, точно определить, когда комарик с пустым брюшком летит, когда с полным, когда сесть собрался, когда взлететь. А если к траве припасть ухом — возню разных букашек услышишь, стрекот кузнечиков, а про остальное

и говорить не стоит: кто топором стукнет, калитку откроет, с ведрами по воду пойдет или где какая собачонка взлает — все звéнью летит в воздухе, рушит тишину. А если захмелевший дед Шешин гаркнет на старуху да забазлает громоватым голосом: «По коням!» — никакой утайки.

Вспомнив крик деда Шешина, Леонид улыбнулся, представил седобородого старика, служившего в гражданскую войну кавалеристом. На сатиновой рубахе у деда был какой-то орден, но какой — Леонид не знал, о чем пожалел в эту минуту. «Много ли орденов на все-то село? Совсем мало, да и те за войну. А у кого за труд? У кого в Горностайке есть орден за труд? У меня у одного! И не за что-нибудь, а за вышкарское дело. Как же уходить мне от них? Как? — спрашивал он себя.— Тут только одно: посоветоваться с Павлом Бобровым». Не мог он предположить и представить, что в эти минуты и Пашка Бобров был занят этими же мыслями, искал для себя ответа: остаться у вышкарей или искать новую работу?

Леонид еле переступал со ступеньки на ступеньку. Тут и заметила Нюра, что плечи у него опустились.

— А где Алешка?

Нюра побежала на кухню, постучала три раза ножом по трубе отопления. В ответ услышала тоже три удара.

— Сейчас придет,— сказала мужу.

Алешка вбежал в квартиру с шумом, будто за ним кто-то гнался по лестнице. Рослый и чубатый, он походил на отца.

Нюра украдкой погрозила Алешке пальцем. В квартире стояла настороженная тишина, какая бывает, когда боятся потревожить больного человека.

Леонид встал со стула тяжело, поморщился.

— Ну, что притихли? — спросил, не поднимая головы.

— Какие-то у тебя сегодня загадки. На что тебе Алешка потребовался?

— Позвал, значит надо.

— Ты не томи. Что есть, сразу и выкладывай,— потребовала Нюра.

— Ишь какой вымахал! — ни с того ни с сего сказал отец, будто давным-давно не видел сына.

— Наукой установлено: теперешние дети на пять — десять сантиметров выше своих ровесников предшествующих поколений,— выпалил Алешка.

Нюра пошла за мужем в комнату. Она будто только сейчас увидела его седой затылок.

Леонид сел на диван, поджав под себя ноги, потер ладонями локти. По всему телу пробежал озноб. Слова, которые хотел сказать, будто примерзли.

— Хочу с тобой посоветоваться, потомок вышкаря,— не глядя на Алешку, сказал Леонид.

— Только сразу внесу поправку насчет «потомка вышкаря»,— ответил сын.— Им, этим вышкарем, я никогда не буду. Можете не мечтать. Примитивная профессия.

Отец посмотрел на сына немигающим, прищуренным взглядом.

— Правильно говоришь, сынок! К черту эту профессию. Я тоже надумал уйти из вышкарей. И уйду.

Стоявшая у стола Нюра ойкнула.

— Да. Надумал уходить из вышкарей! — подтвердил Леонид.

— Сколько лет. Сколько лет! — выдавила сквозь слезы жена.

— Обожди, мама! — по-взрослому остановил ее Алешка.

— Больше мне говорить нечего,— доба-

вил Леонид.— Это все, что хотел сказать. Сразу не мог. Слова в горле застревали.

— А это и правильно,— сказал Алешка.— Хуже отцовской профессии нет... Ты, пап, шофер — вот и иди в шоферы. Мы вчера в транспортной конторе на экскурсии были. Чистота какая. Телевидение по всей территории. На станции диагностики машину, как больного, выслушивают. Узнают, какой узел барахлит. Вот это работа! А на насосно-дожимной станции? Там все по последнему слову техники, не как у вас. Нет, меня канатом в вышкари не затянешь.

— Ты это брось,— остановил его Леонид.— Больно много знать стал. Все сразу тебе надо: программное управление, телевидение, диагностика. А вышки кто ставить будет?

— Так я тебе для информации говорю,— стараясь не обижать отца, у которого как-то изменился голос, примирительно сказал Алешка.— Ты нигде не бываешь, кроме как на своей работе.

Леонид в это время украдкой смотрел на жену и видел, как у нее в глазах дрожат слезинки.

— Может, тебе тяжело стало, но мне твою работу все равно жалко. Как-никак, а ты здесь первым начинал. Люди про это никогда не забывают.— Она вытерла ладонью глаза, села на краешек стула.

У Леонида потеплело на душе от мысли, что не только ему одному дорога его нелегкая работа, а что и Нюра, деля с ним невзгоды, не могла так просто забыть о профессии мужа. Он даже не предполагал, что Нюра так встревожится, хотя каждый раз кляла работу Леонида, особенно когда стирала его грязную спецодежду или встречала сильно уставшего, промокшего под дождями или промерзшего на ветру. В такие моменты ворчала, ругалась, «посыла-

ла» в трясину эти вышки. А тут говорит другое. «Вот спасибо тебе»,— подумал Леонид.

— Ну, траур устроили,— нарушая молчание, сказал Алешка.— У Эдика отец все время работы меняет. Сейчас переводится в Трубопроводстрой, а недавно работал в стройтресте. Не хочет работать и пошел.

— А ты знаешь, как таких людей зовут?— спросил Леонид у сына.— Летунами. Кому и где они нужны? Как пришел с ветру, так и уходит.

— Зато дома драм не устраивает.

— Не смей так говорить отцу! — с придыхом прикрикнула на сына Нюра.— Тебе гордиться надо, что каждая третья вышка на Самозерском месторождении руками твоего отца построена. Не смей так говорить! — стукнула она ладонью по столу.

— Фанатики! Еще советоваться зовут,— сказал ошеломленный Алешка.

— Ты свои ученые слова оставь при себе. Отец у тебя как у самого близкого человека совет в трудную минуту попросил. А ты сразу вышкарей охаивать начал. Сколько у отца друзей останется? Сколько труда? Спроси: кто из вышкарей не знает Леонида Нечаева?

И Нюра заплакала.

— Мам, ну чего ты? — растерялся Алешка, обнимая ее вздрагивающие плечи.— Я хотел как лучше. Теперь знаю, как вы за эту работу стоите.

— А пора бы и тебе знать. Не маленький.

Глава шестнадцатая

Утром Леонид шел на работу с облегчением, будто свалил с плеч ношу, которая давила его, сгибала спину и шею. Он со-

брался отыскать на автостанции Юрия, но услышал сзади голос Макрушина, обернулся.

— Как вы смотрите, Леонид Петрович, если мы командируем вас работать на сборную площадку? Пока там одни новички крутятся вокруг блоков, а не получается. Теряем много времени.

Леонид даже хохотнул, не зная, что ответить на неожиданное предложение. Произнес, как выстрелил:

— Раз надо — значит, надо.

— Тогда вы, Леонид Петрович, там за главного! Как принято теперь говорить, на качество надо обратить внимание, чтобы делали не тяп-ляп.— И Макрушин, подмигнув, протянул ему руку.

Было в этом прищуренном взгляде старшего прораба озорство и таинственность. «Качество. Кому оно нужно в нашей грубой работе? — думал Леонид.— Не успеем вышку выстроить, а ее самое большее через полгода опять корежить, опять перетаскивать на другое место». Рассуждая так, он знал, что только тешит себя, брюзжит, а все равно станет работать как следует. Он не умел работать плохо.

Новая сборочная площадка была загружена оборудованием и техникой. Тракторы, краны, как муравьи, растаскивали многотонные блоки. На окраине площадки тарахтели бульдозеры, расчищая ее вширь, стаскивая в сторону вывороченные корни кривоствольных сосенок и берез, засыпали песком прожорливое болото, которое, разинув ненасытные пасти, принимало очередную порцию песка, смачивало его из-под низу водой и тянуло к себе, в бездонную трясину. Бульдозеры в страхе отскакивали от кромки и, набычив стальные лбы, упрямо толкали в болото новую груду песка. Оранжевые «Татры», медленно приподнимая ку-

зова, ссыпали привезенный грунт. Освободившись, отъезжали, оставляя после себя клетчатый след.

Вокруг шум, гул, лязг. Звуки сцеплялись, скручивались, мешались между собой, выстраивались в грохочущую мелодию и неслись через болото к лесу.

Сборка новых станков была делом нелегким: блоки не подходили друг к другу, не стыковались. Куда-то запропастились чертежи, начали комплектовать по старым и, помаявшись час-другой, оттаскивали блоки обратно. Монтажники злились, ругались и начинали все сначала.

К концу дня один по одному стали смолкать моторы. В густых сумерках осеннего вечера машины не казались такими могучими. Они будто съежились от порывистого ветра, повернулись к болоту спинами и поблескивали, как вымытые, окутанные испариной.

Болото источало из рыхлого, водяного тела густой белесый пар. Прикоснувшись к одежде, он пропитывал ее сырью, холодил тело, вызывал дрожь. Низкорослые деревья и травы бусели, тяжелели, привыкший к туманам мох покрывался росинками.

Леонид не заметил, как прошел день, и только когда закадычный друг Павла Боброва, Шурка, по прозвищу Сизокрыл, громко на всю площадку закричал: «Смотри, Нечаев, не надорви пуп!» — он обернулся, как в чем-то уличенный, выругался.

Пашка Бобров будто канул в воду, не попадал на глаза Леониду, словно избегал с ним встречи. Леонид перебирал в памяти их последние разговоры, насквозь пропитанные несогласием с решением нового начальника. Не зря говорят: время — хороший лекарь. Теперь, когда дни горячих споров отодвинулись, многое стало казаться пустым и мелочным. В этом он убеждался

изо дня в день, хотя все еще ходил, как больной, еле успокаивал вскипавшее самолюбие. Он стал ловить себя на мысли, что побаивается встречи с Пашкой, потому что увидел в Макрушине хозяина слова и дела.

В сущности, он был доволен, что нашел силы переломить упрямство, высокомерие, не оторваться от любимой работы, хотя был на волоске и росчерком одного заявления мог надвое переломить свою жизнь, начинать все сызнова, хотя в этом не было никакой нужды. К тому же в его помощи нуждались другие. Он это чувствовал, от него этого не скрывали, к нему за опытом обращались.

«А Пашка-то, Пашка-то как?» — думал он про себя. Напрягая ум, подыскивал слова, чтобы при встрече, которая все равно должна состояться, не огорошить друга пустословием.

Пашка пришел вечером, когда небо, раскрашенное солнцем, голубило темные тучи, наплывающие на Самозерье с северной стороны. Стоя у порога, сверлил Леонида испытующим взглядом. Взъерошенный, в наспех накинутой куртке с поднятым воротником, прикрывающим короткую шею, он казался сутулым. Бутылки оттопыривали полы куртки и карманы брюк.

— Проходи,— сказал Леонид, протягивая руку, оглядывая Пашку с головы до ног. Тот, шумно дыша, одну за одной вытащил из карманов бутылки, сел на табуретку возле порога, вытянул вперед ноги, посмотрел на обрызганные грязью сапоги, сказал стоявшей возле дверей Нюре:

— Ты бы ушла, Нюра, оставила нас вдвоем. Разговор между нами особый.

— Это что? Все в один раз выпить собираетесь? — спросила она, по-хозяйски взяв с тумбочки две бутылки.

— Поставь! — напряг голос Пашка, и она,

не ожидавшая от него такого рыка, вздрогнула, покраснела, почти бегом убежала в кухню.

Сидя на табуретке, Пашка смотрел на Леонида вприщур и молчал.

— Что? — спросил Леонид, нарушив напряженную тишину.

— Под корень, значит, срубили Боброва, в навоз стоптали и никто не вспомнит про него, да? Как от паршивого пса, все шарахаются. А что я такого сделал? Что? Ну подбил мужиков на срыв одного дня, так что теперь? Все шишки на меня? А где сами были? Почему никто рта не открыл? Никто поперек слова не сказал? Могли бы и приостановить, сказать, урезонить: мол, так и так, Бобров, не туда гнешь. Ну есть в деле Охапкова изюминка. Я что, враг всем? Я что, охламон какой? — Пашка смолк, наклонил голову, упершись руками о колени.

— Пошли в комнату. Что тут возле порога? — сказал Леонид, намереваясь помочь Пашке подняться.

— Жалеешь? — спросил Пашка, хмыкнув.— Все глядят на меня как на больного. А я пришел к тебе ответа искать: что я такого сделал? Где промашку дал? Может, не промашку, а недопонимаю я чего-то?

— Нос надо держать по ветру.

— Значит, нос по ветру! — удивился Пашка, таращa на Леонида покрасневшие от попойки глаза.— Это что же получается: куда ветер — туда и ум? Нет, ты мне свою фразу доподлинно объясни! — качаясь всем корпусом, высоко поднимая ноги, будто перешагивая через коряги, Пашка решительно направился в комнату.— Неси стакан. Хлобыстнуть надо. Душу жжет — спасения нет,— выпалил он и замолчал, лишь громко вздыхал в ожидании Леонида, ушедшего на кухню.— Значит, держать нос по ветру. Это же надо! — философствовал Пашка.—

А если у меня нюх никудышный? Если он у меня только к винно-водочным магазинам направленность имеет, тогда как? — содрогаясь не от смеха, а от внутренней дрожи, спросил Пашка, крепко схватив Леонида за руку.

— Тогда нечего когти рвать. Нечего слюни распускать. Все знаешь, все разумеешь — понимать ничего не хочешь,— подходя к столу, стараясь огорошить Пашку, строго сказал Леонид, наливая в стакан густо-красного вина.

— Бормотуха,— уставив взгляд на бутылку, шевеля ноздрями, прошипел Пашка.— Это же надо, какую отраву подсунула Манька. Вот тварина. Видит, что в запое, и шурует, что под руку попадет. Ну, везде одни козни, везде полоса невезения, как прорва какая. То одно, то другое. Я же ей, паразитке, на коньяки подал, а она чего подсунула? Душу вытряхну! — Пашка в сердцах отодвинул стакан. Красные, как кровяные пятна, капли окрасили скатерть, напахнуло настоем какой-то травы.— Ты мне вначале ответь на самый заглавный вопрос: куда, к слову, я должен девать свое чисто человеческое самолюбие, если на него со всех сторон давят? Закопать? Если хочешь знать, это самолюбие я приобрел здесь, на этой земле.— Пашка хлопнул ладонью по широкой груди.— Ты же знаешь, ты же это лучше других знаешь. Вот и не хочу с ним расставаться.

— Ну и носись с ним, как с пузырем. Кому его надо? В человеке все, в том числе и самолюбие, должно быть в определенных дозах.

— Больно ты заумно говорить начал. И откуда у тебя это? — спросил Пашка, большими глотками отпивая из стакана вино.

Нюра вошла в комнату с подносом за-

куски, увидев на скатерти пятно, вспыхнула, прикрыла салфеткой.

— Ничего, новую купите,— виновато сверкнув глазами, буркнул Пашка.— Муженек нос по ветру держит. Он на конфликт не пойдет.

— Ты, знаешь ли, говори, да не заговаривайся,— нахмурился Леонид, оскорбленный не столько тоном, сколько язвительными словами друга. И это радовало Пашку.

— Что-то мы с тобой говорим не о том, все вокруг да около петляем, друг от друга, как волк от зайца, прячемся. Только я не пойму, кто из нас волк, а кто заяц,— говорил Пашка, глядя на Леонида возбужденно-горящими глазами.

— Черт тебя разберет,— ответил тот, стараясь погасить в себе раздражение.

— А ты не петляй, не петляй. Ты мне выкладывай, в чем я виноват в твоем понятии и как мне нос поворачивать по ветру, чтобы не свернуть его и собственное самолюбие заодно. Вот тебе вопрос ребром. Если не можешь ничего сказать, тогда прощай, дружище. Тогда Пашка Бобров в распыл пойдет. Помнишь, как раньше бывало? Ну? Ты ведь помнишь, откуда я к вам пришел. Из пьяни-и-и. Вино — оно умеет напрочь глушить все болячки или, наоборот, разъедать их. Хоть то, хоть другое — все равно крах.

Такое циничное откровение, распахнутость Пашки было первым признаком его душевного надлома, и Леонид испугался за него. Отбросив спесь и обиды, он не то чтобы ласково, а твердо и категорично сказал:

— Сами из мухи слона сделали, разбередили душу, ну и пузырем лезем, ну, в пузырь лезем, а в сути разобраться ума не хватает что у тебя, что у меня.

Пашка заскрипел зубами, откинулся на

спинку стула, запрокинул голову, щурясь от яркого света лампочки. Воспаленные, опухшие веки вздрагивали. Выкатившаяся слеза блеснула возле носа, скатилась по глубокой морщине к губе, и он как бы между прочим слизнул ее кончиком языка.

— Ну-ну. Валяй,— сказал Пашка, шумно дыша.

— Кто, к примеру, мне или тебе сказал «уходите», «нет от вас толку», «без вас обойдемся»? Никто не говорил и никогда не скажет, это уж точно. А чуть посторониться попросили, так самим думать надо: по делу. Нельзя же теперь работать, как мы раньше работали. Нельзя,— ответил он за себя и за Пашку.— Первую-то буровую мы пять месяцев монтировали! Пять месяцев ни шатко ни валко, а теперь размах какой!

— Да тогда какие дороги были! Какое оборудование! — не сдавался Пашка.

— Соразмерно и сроки. Ты чего уперся? Будто не соображаешь, что нельзя работать, как работали мы. Ну чего мы смыслим в новых станках? Ну чего? Да ровным счетом ничего, а трясемся со своим самолюбием. Хвост нам прищемили, а мы варежки пораскрывали— захныкали, обиженные судьбой, вот и остались с оскорбленным самолюбием. Ерунда все это. Я первые дни тоже места не находил. А из-за чего? Шлея под хвост попала. А то бы подумать: что сами стоим без вышкостроения? Кто мы? А уж если быть до конца честными перед собой, то и про ордена вспомнить не грех. Их кому попало не давали и не дают, а нам дали. Заслужили и почет приобрели. А почет, как я думаю, всегда охранять надо, и прежде всего самим. От себя человек никуда не уйдет — это не нами сказано. От людей можно и скрыть, и утаить кое-что, а от себя нет. Ты

не самолюбие оберегай, а совесть. Посоветуйся с ней, а тогда хорохорься.

Пашка молчал. Лицо порозовело, покрылось мелкими капельками пота, еле заметным движением языка он то и дело облизывал пересохшие губы, в редких и глубоких вздохах чувствовался легкий стон.

— Ну-ну,— протянул он, медленно вытянув перед собой ноги и не меняя позы, будто боялся нарушить спокойствие. В этой интонации было много смысла и чувства, располагавшего к примирению.

— Работать надо, вот и весь сказ,— категорично сказал Леонид.— Отбросить собственное самолюбие и работать как работал.

— С этими охламонами? С этими предателями, которые теперь из меня душу трясут? Если перед Охапковым — не побоялся бы и шапку снять. Какую буровую отгрохал, да еще с моими подковырками. Знаю: повинную голову меч не сечет. И польза от меня была бы немалая. Вот ведь, мать ее в корень, случается же так: сам себя изживаешь.— И в каждой сбивчивой фразе чувствовалась тоска по работе.— Я бы мог махнуть на новую Пуйковскую площадь,— сказал Пашка совсем примирительно.— Но и там неувязка: твоего-то земляка Юрия Перевалова звеньевым туда посылают.

— Да ну-у-у? — не сумев скрыть удивления, проговорил Леонид и, опасаясь присутствия Нюры, которая не упустила бы случая подлить масла в огонь, посмотрел на дверь.

— А чего тебе Юрка? — прошептал Леонид.

— Двум медведям в одной берлоге не жить,— ответил Пашка.— Да у меня и с Таисией стала тишь, да гладь, да божья благодать. Уезжать неохота.

— Так оставайся у Охапкова. Все свое,

все свои. Юрки-то в бригаде не будет, я ведь как понимаю: главная твоя загвоздка из-за него?

Пашка, ничего не ответив, снова потянулся к бутылке, снова морщил нос и ругал жуликоватую продавщицу, подсунувшую ему вместо коньяка легонькое винцо.

— А ты чего не пьешь? — спросил он каким-то слабеющим голосом, совсем непохожим на Пашкин.— Ну и правильно. Я ведь тоже завяжу. Я это умею. Просто, дружище, сердце у меня съежилось, как надумал уходить из вышкарей, будто его на съедение всякой твари выбрасывать собрался, а — не могу. Человеком я себя у них почувствовал. Человеком со своим самолюбием. Черт его бери: раз надо по две буровых в месяц строить — и будем строить! Кто нам указ, а? Никуда не пойду. Если бы такое случилось лет пять назад — ушел, не моргнув глазом, теперь — не уйду. Все тут мое. Поеду на Пуйковскую площадь. Велика беда.— Пашка засмеялся, большая голова запрокинулась назад, выставив напоказ толстую шею с большим кадыком и тяжелый подбородок с багровым шрамом.— Таисью жалко...

Глава семнадцатая

Два дня назад ранним утром позвонил Ласточкин и почти в категоричной форме сказал, что в самые ближайшие дни Братцеву следует командировать вышкостроителей на новую — Пуйковскую площадь и приступить к немедленному монтажу первой буровой. Глуховатый голос и сказанное по слогам каждое слово начальника главка, казалось, не давали и минуты сосредоточиться Братцеву, и он почти машинально, с легкой поспешностью ответил: «Хорошо!»

— Благодарю,— услышал в ответ,— рад, что мы так быстро поняли друг друга.

В трубке загудели частые гудки. Они показались Братцеву чрезмерно пронзительными, будто каждый сигнал ощутимо касался уха. Положив трубку, он смотрел на новый ярко-красного цвета аппарат.

— Ничего себе подарочек! — пробурчал и только потом, с запоздалой раздражительностью на себя процедил сквозь зубы: — Размазня! — Он вдруг представил, что крылось за поспешно сказанным словом. В сущности, он еще не вникал в этот вопрос, он знал, что на Пуйковскую площадь буровиками завозится оборудование, что настанет и для них пора начинать там работы, но все это было в перспективе. Сейчас были неотложные дела по выполнению плановых заданий. Недаром говорят: «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь». Конечно, слово Ласточкина для него — закон, но как понимать — «командировать немедленно вышкостроителей»? Приступать к монтажу немедленно! Кто-кто, а Ласточкин знает, что значит ставить буровую на новом месте, когда нет дорог и время самое неподходящее: распутица осенняя. Ни пройти, ни проехать! Расстояние-то триста верст! Он задавал себе один за другим вопросы, на которые в большинстве не мог ответить, а они все росли, как снежный ком при весеннем снегопаде. Вот тебе и «хорошо»! Он тут же хотел позвонить Ласточкину, но сумел вовремя остановить себя. Словечко сказал, а теперь вертись, крутись. Теперь Ласточкину не скажешь: «возможно», «по моему предположению» или «кажется». Все знали, что Никита Михайлович не терпит таких ответов. В лучшем случае он требует отрицательного ответа и немедленного обоснования отказа.

Скорее для успокоения Братцев поднял

трубку, подержал с минуту на расстоянии и положил обратно.

В кабинет, на обычную утреннюю разнарядку, собирались все начальники инженерно-технологических служб. Когда все стулья, за исключением места главного энергетика, были заняты, Братцев как бы между прочим спросил:

— Что нами на Пуйковской площади делается?

По-видимому, многим его вопрос показался малозначащим: начальник задал его по пути, чтобы иметь кое-какое представление, поэтому промолчали.

— Что нами завезено на Пуйковскую площадь? — робко переспросил Коля Вдовенко.— Вразумительного ничего не скажу. Буровики завозили оборудование зимником, и все! Наши снабженцы учет вели. Возможно, они точнее ответят.

— Что значит «все»? — Встал из-за стола Братцев.— Вы сами-то бывали на Пуйковской площади? Был у нас с вами как-то об этом разговор, или, быть может, я запамятовал?

— Был разговор,— каялся Коля.— Закрутился и не съездил, а потом распутица пошла.

— Кажется, Кузьменко там был. Он в курсе всех дел,— пришел на помощь Коле главный инженер.

— Не позднее двух дней необходимо скомплектовать бригаду, снабдить всем недостающим и необходимым и отправить на Пуйковскую площадь. Точно не знаю, какие будут установлены сроки строительства первой буровой, но, как я понял из разговора с Никитой Михайловичем, скидок никаких не будет!

— Ну уж это несурьезно. У нас там ишо и конь не валялся! — окающим голосом перебил Братцева Тарасов, начальник отде-

ла труда. Лицо его покрылось красными пятнами, в тонких сухих пальцах, желтых от долгого курения, шуршала мятая папироска, из которой сыпался на полы пиджака и брюки размельченный табак.

— К вечеру иметь полный список недостающего оборудования, завоз которого нам придется осуществлять вертолетами, а главное — скомплектовать бригаду. На Пуйковскую площадь командировать людей, знающих дело, не так, как часто бывает: отдать из бригады кого ни попадя да кто работает шаляй-валяй. Тут и парткому и комсомолу дел хватит.

В кабинете была непривычная для этого часа тишина.

— Если нет вопросов, все свободны.

После обеда, приводя возле зеркала в надлежащий вид пышную прическу, секретарша Люба увидела Наиля Фархутдиновича, начальника отдела кадров. Он шел необычно тихо и, рассматривая в руках бумагу, что-то шептал. Обычно он редко здоровался с Любой, заходил в кабинет к Братцеву с важным видом, а тут остановился.

— Тут? — спросил, кивнув в сторону кабинета начальника.

— Заходите, один.

— Нет,— Наиль Фархутдинович передал мелко исписанный лист бумаги.— Передай, пожалуйста. Только сейчас.

Настроение у начальника отдела кадров испортилось после разговора со старшим прорабом Охапковым, который настоятельно просил вместе с опытными и знающими дело буровиками включить в список командируемых на новую — Пуйковскую площадь и Юрия Перевалова.

Наилю Фархутдиновичу казалось, что Охапков просто упрямится, что его пора вообще взгреть за постоянное самовольство,

а ему всё сходит с рук. Даже за то, что по его вине не сдали вовремя буровую, он не понес никакого материального наказания. Распустили старших прорабов, втолковывают им, что они самые главные командиры производства,— вот и результат, рассуждал начальник отдела кадров. Фамилию Перевалова он написал крупнее других и даже обвел красным карандашом, чтобы Братцев обратил на нее особое внимание.

Как сообщил Братцеву снабженец Кузьменко, однажды побывавший на Пуйковской площади, там, кроме одной охотничьей избушки, в которой обогревались шоферы, возившие груз, жилья вблизи нет никакого.

— Значит, надо посылать и плотников, и стекольщиков, и электриков?

— Наверное,— пожимая узенькими плечами, ответил Кузьменко.— Там только ящик с оборудованием для буровой, и то не в комплекте. Надо срочно все проверять, и, по-моему, вышкомонтажникам там первое время делать нечего.

— Нечего? — переспросил Братцев и, вспомнив разговор с Ласточкиным, смолк, сидел с минуту в раздумье.— А вы садитесь. Поподробнее расскажите.

— Рассказывать-то нечего. Зимником возили оборудование. Завезли не полностью. Мы как следует не смотрели, не принимали.

— Ну, а если бы вам сейчас дали приказ начать монтаж буровой на Пуйковской площади, как бы вы поступили?

— Что вы, Иван Аркадьевич, какой монтаж? — Кузьменко хохотнул, поерзал на стуле, уставил на Братцева маленькие глазки и смотрел вроде на него, но нетрудно было увидеть, что мысли его далеко. Кузьменко понимал, что Братцев не перебивает его раздумий, хотя и подумал, что черес-

чур долго сидит в молчании. «Ну-ну,— ждал он вопроса Братцева.— Хотел бы я посмотреть сейчас на ту площадку».

— В чем же дело! — ответил Братцев.— Пока то да се, вам, и именно вам, надо побывать там. И не только вам, а...— Он хотел сказать, что следует лететь на Пуйковскую площадь если не ему самому, то главному инженеру.

— ...А командировал бы я пока плотников, электриков, сварщиков.

— А монтажников когда? — торопил Братцев, надеясь услышать хоть немного обнадеживающий ответ. В данную минуту Братцеву был необходим приблизительный, самый приблизительный срок начала монтажа. Но он чувствовал, что Кузьменко не может ответить на его вопрос.

— Сложно,— выдавил Кузьменко, потирая узловатыми пальцами колени.— Прикидывать не умею, а то, что видел сам,— мало успокаивающая картина.

Зазвенел телефон. Звонки были продолжительные, какие шлют с междугородной станции. Братцев почувствовал, как екнуло сердце. Его волновал предстоящий разговор с Ласточкиным. Он хотел было поднять трубку, но вместо этого нажал на столе кнопку, подавая сигнал взять трубку секретарю. Мгновение ждал, что она войдет в кабинет и скажет: «Вас вызывает Тюмень»,— но прошло несколько томительных минут, а секретарша не заходила.

Пожалуй, никогда Иван Аркадьевич не испытывал такого неприятного состояния от телефонных звонков. Устыдившись, посмотрел на Кузьменко, не заметил ли тот его растерянности. Мысль, что дело с Пуйковской площадью он прошляпил и надо наверстывать, мобилизуя прежде всего самого себя, застигла его врасплох.

— Бобров там бывал. Помнится, у него

все в блокноте записано, что завезено. Он почему-то считал, что обязательно первым туда поедет. Тогда он еще старшим был, вот и мечтал! У него в самом деле все записано, я даже карманную книжку его помню.

— Хорошо. Спасибо,— сказал Братцев Кузьменко.— Будем выяснять.— У Братцева второй день щемило мизинец на правой ноге. Боль была сильная, будто кто-то выворачивал ноготь. Он уперся пятками о пол, и колющая боль передалась другим пальцам. Извинившись перед Кузьменко, который уже собирался уйти, расстегнул на сапоге крепкую стальную «молнию».— По буровым собрался проехать, а теперь Пуйковской надо заниматься,— говорил он, вытаскивая под столом ногу из мехового сапога.

Оставшись один, он попросил Любу пока никого не пускать, торопливо снял сапоги и в носках пробежал по холодному линолеуму в узенькую комнату за стеной, в которой стоял холодильник, столик с чайным сервизом и самовар. Спрятав сапоги в угол, он сидел минут пять, пошевеливая пальцами, пока боль не прошла. К счастью, в том же углу стояли его запылившиеся туфли, он надел их, обтер краем грубой дорожки.

— Надо найти и пригласить Боброва,— вслух сказал Братцев, ощупывая ладонью холодные бока самовара. Он был бы не против отхлебнуть глоток-другой крепко заваренного чая, но, поскольку любил его пить только горячим, поспешно вышел, поскрипывая подошвами пересохших туфель.

— Боброва так Боброва,— повторял скорее для того, чтобы не передумать, не дать волю своему порой упрямому самолюбию. Нажимая на кнопку звонка, он неожиданно для себя подумал, что все эти парни делали основательно, с заглядом вперед — что Бобров, что Нечаев, что Лопатин. То, что

работали старые прорабы с заглядом в будущее, для него с каждым днем становилось бесспорным. Никто ничего не знает. Никто сказать не может, что и как, а Бобров уже тогда мечтал работать на Пуйковской площади. Вот тебе и Бобров!

Секретарша стояла возле двери, придерживаясь за скобку. Братцев много раз делал ей замечание, чтобы она не толклась в двери, а по любому вопросу подходила к столу, но его замечания хватало ей только на один день, на следующий она опять держалась за скобку, будто боялась, что ее кто-то столкнет с места.

— Разыщите Охапкова, вернее, попросите, чтобы вызвали его по рации, и пусть он к вечеру отправит ко мне Боброва.

— Боброва? — с удивлением переспросила секретарша.

Последняя фамилия в списке, который принес ему Наиль Фархутдинович, была обведена красным карандашом. «Пе-ре-ва-лов,— прочитал Братцев по слогам, припоминая, что когда-то так же читал эту фамилию.— Пе-ре-ва-лов!» Почему-то вспомнился роман «Приваловские миллионы». Урал. Горная речка с такой светлой водой, что можно было увидеть на дне каждую песчинку, и вода до того холодная, что после одного глотка ломило зубы. Там, на Урале, он встречал фамилию Перевалов, и, кажется, это был старый штейгер. Ростика маленького, глаза синие-синие и острые, как сверла. Братцев бы никогда не запомнил их, если бы не смотрел тот на него испытующе, и ему всегда казалось, что старик собирается что-то сказать, но не может. Еще он вспомнил, как пил старик Перевалов пунш. Кружка у него была своя, завернутая в серую холщовую тряпицу, с помятым краешком. Конечно, у него был свой рецепт: в кипяченную с сахаром воду он на-

ливал ложки две коньяка или рому, накрывал какой попало под руку крышкой или просто лоскутком березовой коры и сидел ждал, пока кружка чуть приостынет. Еще до пробы своего пунша старик начинал потеть. Лоб покрывался крохотными капельками, потом крупные и блестящие водяные пузырьки выскакивали на носу. Когда он начинал расстегивать пуговицу черной косоворотки — все знали, он приступает к питью. Он пил не торопясь, после каждого глотка ставил кружку на стол, делал глубокий выдох и доставал из кармана большой носовой платок. Платок был неопределенного цвета, искомканный, но Перевалов обтирался только им, не прикасаясь к морщинистому потному лицу ни ладонью, ни рукавом, ни подолом длинной рубахи. Говорил, что сахар для своего пунша он варил сам на костре, а на ром и коньяк денег не жалел. Где прятал он свои шкалики — никто не знал, но один малюсенький всегда был в боковом кармане серого старомодного сюртука. Про старика говорили, что он находил безошибочно золотые жилы, был у золотопромышленников в почете, имел немало денег, и вообще для молодых геологов, каким в ту пору был Братцев, он казался древним мужичком-с-ноготок, из сказки. Он умер как-то неожиданно, возле шурфа с кайлом в руке. Когда его привезли на базу, Братцеву все казалось, что он притворяется, озорничает и вот-вот приоткроет глаза, синие-синие...

«Не из тех ли Переваловых этот парень, который обменялся с Бобровым оплеухами,— подумал про себя Братцев, откинувшись на спинку кресла, и не сразу освободился от воспоминаний о старом штейгере.— Этого, пожалуй, рановато посылать на новую площадь. Горячий характером. Кто это его предложил отправить туда?»

— Будьте добры, скажите, из какой бригады Перевалов, который значится в списках командированных на Пуйковскую площадь? — спросил он по рации, вызвав отдел кадров.

— Из бригады Охапкова,— услышал ответ.— Мне, знаете ли, не удалось переубедить старшего прораба Охапкова,— раздраженно, с явным башкирским акцентом говорил Наиль Фархутдинович.— Твердит свое: только таких, как Перевалов, и надо посылать на самые трудные участки. Много воли даем этому Охапкову!

Выключив микрофон, Братцев хмыкнул, поворошил на затылке густые волосы, несколько раз подчеркивая фамилию Перевалова. «Он, кажется, кандидат в партию. Не кажется, а точно. Хорошее ему будет партийное поручение там, на Пуйковской площади. Не стоит переиначивать. Здесь ему и надо проходить кандидатский стаж».

Юрий о своем назначении поехать на Пуйковскую площадь узнал вечером, хотя Пашка Бобров откуда-то знал об этом раньше. Охапков сам подошел к Юрию, как всегда, тихо и незаметно, постоял, а потом как бы между прочим заявил:

— Я, знаете ли, порекомендовал тебя, товарищ Перевалов, звеньевым на новое месторождение. Пуйковским называется. Сейчас туда бригаду комплектуют.

— За что такая милость? — удивился Юрий, по-настоящему еще не осознав, что все это значит. Только минуты через две, оказавшись лицом к лицу с Охапковым, заметив через очки его пристальный взгляд, настороженно спросил: — Избавиться захотел, так бы и сказал. Есть прямые русские слова.

— Что вы, товарищ Перевалов! — поправляя на переносице очки, выговорил Охапков.— Это мое личное мнение о вас.

И не так просто было доказать это. С моим мнением вы можете не соглашаться и думать по этому поводу как желаете, но, как я понимаю эту командировку, то считаю за честь быть там первым.— Охапков почему-то сделал несколько шагов назад, пытливо поглядывая на Юрия, скосив набок голову.

Скупое осеннее солнце медленно спускалось с неба на далекую зубчатую полоску леса, осветило пики невысоких елей. Юрий смотрел на них, пытаясь определить, какая выросла выше. В глазах рябило, и тонкая длинная тень на земле от буровой вышки, казалось, уперлась вершиной в самое глубокое озеро. Тихий голос Охапкова вывел Юрия из состояния рассеянности.

— Я руководствовался личным мнением о вас. Если вы категорически против, то оставайтесь в бригаде. Вы здесь нужны. Я бы, если мне посчастливило поехать туда, был несказанно рад.

— Убедил,— рассмеялся Юрий, и ему захотелось по-дружески хлопнуть старшего прораба по плечу, но Охапков насупился и отошел.

Всех болезненней назначение Юрия звеньевым на Пуйковскую площадь принял Леонид Нечаев. Когда спьяну говорил Бобров, он не поверил, а тут возмутился. «Вот какие выскочки! Такие и вершат дела, им все побоку, что было раньше. Лезут напролом — и будь здоров! А чем, собственно, себя показал? Пришел на готовую буровую, и вот тебе — звеньевой!» Отправляя Юрия на Самозерье, Леонид надеялся стать его покровителем, чтобы потом в Горностайке можно было при случае похвалиться, что не зря позвал его в эти края, что помог на первой трудной дороге, а тут — полная самостоятельность, и не то чтобы самостоятельность, а прямо полный авантюризм! Но больше всего Леонид боялся, что об этом

узнает Нюра. Ее тогда не остановить, не успокоить. Тогда уж она даст волю своему язычку...

Глава восемнадцатая

Полным ходом работы на Пуйковской площади должны были развернуться в будущем году. Об этом все знали, помнили, но рядом, на Самозерье, где тоже все делалось вновь, была тьма разных нерешенных проблем, а о нем говорили как о главной энергетической базе страны. Предполагаемые запасы нефти подтвердились. Наращивались мощности, увеличивались планы, расширялись производства, открывались десятки новых предприятий.

Ласточкин, человек государственного масштаба, радуясь успехам буровиков и нефтяников, все чаще задавал один неизменный вопрос: надолго ли хватит Самозерья? Для многих такой вопрос начальника главка был вроде бы неожиданным: все шло нормально, успехи, аплодисменты, трудности разведок позади, пора бы постоять на гребне славы, а он — свое! Нельзя откладывать выход на новые площади! Нельзя! Ввод Пуйковской, тоже перспективной, площади считал делом безотлагательным. Коллегия приняла его настоятельное предложение о вводе этой площади на год раньше намеченного срока. Ласточкин понимал, какие трудности взваливает на все предприятия, которым придется перестраиваться, изыскивать новые резервы, а людям терпеть неудобства и больше на энтузиазме преодолевать это трехсоткилометровое расстояние. Конечно, теперь есть опыт освоения Самозерья и других нефтяных городов Приобья. Опыт. Но здесь — все сначала! Никита Михайлович не сразу

позвонил Братцеву. Он сам как-то не мог собраться сказать об этом, понимая, что только-только сдвинули с места сотни проблем, начали работать ровнее и стабильнее. Стало больше времени говорить о быте, отдыхе, о создании ансамблей. Совсем недавно самозерские хоккеисты одержали победу в нелегком поединке с известной командой области. Когда он смотрел этот матч по телевидению, то помимо воли так сильно и радостно закричал, что перепугал всех домашних.

— Вы только поглядите, что делается? Поглядите! Самозерцы-то великолепный гол забили! Самозерцы! Вы знаете, что это за команда? Вы даже представить не можете, где они тренируются. И большинство из них, из этих парней, работают помбурами!

Ласточкин сидел в широком кресле и сосредоточенно следил за игрой. Его грузное тело подавалось вперед, когда велась атака возле ворот самозерской команды.

— Ну-ну, покрепче держись, самозерец! Покрепче! — кричал он, удивляясь тому, что не может скрыть волнения, да, по сути, он и не хотел его скрывать, но испытывал такое впервые: играли не кто-нибудь, а самозерцы, команда, созданная-то не больше полугода назад.

Утром, придя в главк, Ласточкин продиктовал приветственный текст телеграммы на имя Храпова. Диктовал и думал, что жизнь пошла, покатила и теперь расти Самозерью и хорошеть. «Нет, не жить вам спокойно,— рассуждал Никита Михайлович, изучая, пересматривая сводки и планы выполнения строительства буровых вышек.— Может, в этом и счастье, что нет спокойной жизни. Там собрались все, кто не ищет покоя». Но при этом он настраивал себя на жесткий и категоричный разговор. Он знал, что надо сразу расставлять все по местам.

Переговорив с Братцевым по телефону и получив в ответ «хорошо», Ласточкин был вне себя. Ему показалось, что он разговаривал не с руководителем вышкомонтажного управления, а с заведующим каким-нибудь отделом в главке. Никаких вопросов, никаких задач. «Да этого не может быть! — думал Ласточкин и так же, как Братцев в те минуты, смотрел на телефонный аппарат.— Ничего, позвонит»,— успокаивал он себя. Но прошло два дня, а звонка с Самозерья не было. Вернее, звонили буровики, транспортники, дорожники, нефтяники, тампонажники, а вышкомонтажники — нет.

Ласточкин удивился терпению Братцева. Порой приходила мысль, что он не много придал значения разговору. Хотелось снять трубку и вызвать его на вторичные переговоры, но это было бы слишком.

— Как позвонят из вышкомонтажного управления с Самозерья, найдите меня хоть днем, хоть ночью,— сказал он в приемной, уходя домой. «Хорошо!» Можно подумать, что он возьмет и вспорхнет на Пуйковскую площадь. Там и оборудования-то доброй половины не завезено и жилья никакого.

Но звонили строители, а Братцев молчал.

В вышкомонтажном управлении работал штаб по готовности выхода на Пуйковскую площадь. На столе партийного секретаря Шумилова лежала груда всевозможных списков, бумаг, схем, чертежей и разных заявлений. Фамилии в списках перечеркивались, вписывались новые. Желающих поехать на Пуйковскую площадь оказалось так много, что пришлось срочно созывать партийное бюро.

Было решено: людей на месторождение доставить вертолетом, а дизельную электростанцию и горючее попытаться провезти по старому зимнику вездеходом.

Юрий и Хвыля сразу решили ехать вездеходом.

Водитель вездеходного тягача Алеша оказался парнем бывалым, с военной выправкой, только что демобилизованный из армии. Увидев Хвылю с собачонкой, ухмыльнулся, покачал головой:

— Дорога-то, парень, шель-шевель — и тебя, и собачонку залихоманит.

— Мы бывалые! Все лучше халтурных перевозок. Закроешь, откроешь глаза — и вылезай,— говорил Хвыля о вертолетных поездках,— а тут как-никак все увидишь в полной красе! Ты меня, парень, обожди. Я мигом! — говорил Хвыля водителю, краснея.— Мне край по телефону переговорить надо.

Бывают же такие нелепые совпадения. Надо же было ему ни раньше, ни после, а именно вчера встретить Леночку, которую не видел с самого лета. Тогда он увидел ее на танцевальной площадке. Конечно, Хвыля не танцевал, он стоял в стороне с березовыми ветками в руке и отгонял комаров, которые полчищами кружили над площадкой. Ему казалось, что все и танцуют только для того, чтобы спастись от комариных укусов. Он один стоял как вкопанный, наблюдал за белокурой девушкой в легком розовом платьице, беленьких босоножках, и когда заканчивался танец, она первым делом низко приседала, будто делала реверанс, отгоняя комаров с полных ног, и выбегала с подружкой с площадки. Вначале Хвыля смеялся, но потом подошел и молча подал ей пучок березовых веток. А потом уж само собой получилось, что он не выпускал из поля зрения эту пару веселых

девчонок, которые не принимали от парней приглашения, весело смеялись и были рады чему-то своему, им двоим понятному.

Возле решетчатой, крепко сваренной из толстых прутьев двери Хвыля перегородил им дорогу.

— Вот еще! — сердито крикнула тогда Леночка, пытаясь оттолкнуть маленькими кулачками массивную фигуру Хвыли.

— Пусти! Не видишь, что комары заедают!

Больше Хвыля Леночку не видел, но, как на грех, вчера вечером она попала ему навстречу и сразу узнала, засмеялась, весело проговорив:

— Я думала, вас уже здесь нет. Смотрю иногда на танцах, а вы как в воду канули.

Хвыля что-то мямлил, мял в ладонях бороду, которая в последнее время распушилась и на концах стала завиваться в мелкие кольца. Хвыля не любил этих завитков, срезал их всем, что попадало под руку.

— У нас работа такая,— после неловкого молчания наконец сказал он.

Леночка стояла на противоположной стороне лужи, топталась будто для того, чтобы оставить в грязи больше следов от острых каблучков высоких сапог.

— А сегодня танцы,— напомнила Леночка.— Под эстрадный оркестр.

— Я не танцую,— краснея, ответил Хвыля и пожалел.

— Вы и в тот раз не танцевали. А мы ваш веник тогда долго вспоминали, даже для памяти в банку с водой ставили.

— Мне бы ваши координаты знать надо,— осмелился Хвыля.

— Ни к чему! — Леночка засмеялась, махнула рукой и побежала.

— Как это ни к чему? — сказал он вслед, уже понимая, что девушка не слышит его,

Вечером, обзвонив все общежития, он все-таки узнал, где живет Лена, составил план своего похода, придумал красноречивые ответы на предполагаемые вопросы, но, как на грех, узнал, что завтра утром его командируют на Пуйковскую площадь. Вернее, его не командировали, он сам подал заявление, ходил в партком, а когда получил согласие, понял, что никакого свидания у него не будет. Стало грустно от этой мысли.

В диспетчерской было полно народу. Он долго и пристально смотрел на телефонный аппарат.

— Звони, чего стоишь,— сказала диспетчерша, угадав его намерение. Хвылю всего обдало жаром.

— Алло,— узнал он сразу голос Леночки. Хвыля молчал и только дышал в трубку.

— Знаете ли,— хрипловато сказал он, касаясь губами трубки.— Я обещаю вам самый хороший вальс. Я умею танцевать. Он останется за мной, хорошо? А мы сегодня уезжаем на новое месторождение.

Парни в диспетчерской притихли, заперглядывались, но не смеялись.

У Хвыли пот катился со лба, он вытирал его ладонью и шел напрямик к вездеходу.

Было утро. Солнце осветило дали, высветило в перелесках каждое деревце. Кочки на болотах будто приподнялись, выставили напоказ прихваченные первыми заморозками жухлые листья и мхи с багровой клюквой. Лесные пауки наплели между деревьями корзинки-ловушки, вздрагивающие от легкого дуновения ветра. В вершинах низкорослых елей озорно играли синицы. Высоко в небе летели вереницы перелетных птиц.

Тяжелая вездеходная машина буровила воду, жадно подминая под гусеницы кочки, мох, ягоды, тину. Она мчалась, будто за-

хлебывалась собственным ревом, ухала в зияющие воронки болота, выскакивала, тупым стальным лбом опрокидывала через себя мутные потоки воды.

Взгляд Алешки-водителя был сосредоточен, губы плотно сжаты, и весь он подался вперед, будто несся по болоту не тягач, а он сам.

Все, что находилось в машине, тряслось, грохотало, звенело, бренчало. Юрия поташнивало. В ушах стоял гул, и в глазах все начинало покачиваться. Хвыля молча припал спиной к стенке кожаного сиденья, колыхался всем телом из стороны в сторону и при каждом очередном толчке сильнее прижимал к себе Лапку.

Дорога зимника была хорошо приметна. По сторонам валялись всевозможные железяки, трубы, стволы срубленных деревьев, круги от сожженных костров.

— Видать, барахтались тут люди,— останавливая машину, говорил Алешка, рукавом обтирая лоб.— Заметили, после каждого километра привал был.— С шумом распахнув дверку машины, он высунулся наполовину, осматривая даль.— Тут вроде трясина. Дорога вся под воду ушла.

— Вроде,— согласился Юрий и попытался выйти. Но стоило ему поставить ногу на кочку, как она тут же потерялась под водой, а он ухнул в воду по пояс. Лапка испуганно завизжала, прячась под сиденье кресла. Вода в болоте шевельнулась, еле заметные волны пробежали по зеленоватой глади.

Сапоги-болотники, полные воды и тины, сами сползали с ног. Было непрятное ощущение, будто кто-то схватил Юрия за ноги и с силой тянет в трясину. Он, конечно, не испугался: рядом товарищи, такая машина, и руки крепко вцепились в стальные поручни, но все тело дрожало, озноб пробегал

по спине. Он силился выдернуть ноги, но ничего не получалось.

— Оставляй там сапоги, черт с ними! — закричал Алешка, чувствуя, как барахтается в болотной тине Юрий.

— Вылезай сам. Давай поскорее, а то простынешь. Вода эта, как лед! — Хвыля держал руку на весу и, изловчившись, потянул за куртку так, что она затрещала.

— Потише,— останавливал его Юрий, закидывая босую ногу на гусеницу машины. Он тяжело дышал. Ошарашенный непредвиденным крещением, смотрел на залитое водой место, где остался сапог-болотник и не было никакого следа от его возни в болотной няше. «Тут и машина ухнет — следа не увидишь!» — пришла в голову мысль.

В воздухе послышался гул вертолета. Он то нарастал, то замолкал, то вновь казался совсем рядом.

— Наши летят! — весело проговорил Хвыля, припадая лбом к обрызганному грязью стеклу.

— Может, нас высматривают,— ответил Алешка-водитель и стал подавать сигнал. Они знали, что сигнал вездехода никто не услышит, но звуки его, громкие и протяжные, летели над молчаливой, таинственной трясиной, словно пугали ее.

— У меня что-то нет желания ехать дальше,— тоскливо сказал Алешка-водитель.— Синь какая-то впереди. Может, от сумерек в глазах все синее. С утра рванем и дорогу найдем.

Вертолет вылетел из-за тучи и, молотя винтами воздух, летел прямо к вездеходу.

— Наши-ы-ы-ы-ы! — заорал Хвыля.— Наши-ы-ы-ы!

Струи сильного воздуха подняли над трясиной воду. Синеватые капли нехотя приподнимались, шумно шлепались, содрогая водяную зыбь. Вертолет сделал несколько

кругов над вездеходом. Видно было, что им махали руками, подавали какие-то знаки, но никто ничего не понял.

Сумерки наступили быстро. Туман медленно поднимался, выползал из-под кочек, заволакивая даль, и скоро густая пелена закрыла горизонт. Юрию показалось, что вся бескрайняя топь покачивается и вздыхает.

Вытащив из-под сиденья спальные мешки, Алешка с шумом расстегивал «молнии», приговаривая:

— На новом месте приснись жених невесте!

— Городишь невпопад! Самому поди-ка невесту увидеть охота хоть во сне, а ей сулишь такое удовольствие.

— Не говори,— согласился Алешка и грохнулся на спальный мешок, брошенный на пол вездехода, положив руки за голову. И вся эта неустроенность, отрешенность, удальство и лихачество нахлынули на него в этот необыкновенно напряженный день с какой-то предательской стороны, словно подкрались, и он, пожалуй, впервые пожалел о своем приезде на Самозерье. Но от этой мысли ему стало неловко. «А чего тут такого? — попытался он успокоить себя.— Всем нормальным людям свойственно мечтать о благах, об удобствах». Повернувшись на бок, он задел рукой холодновлажный металлический пол, отдернул ее и сунул за пазуху.

— Чего вы молчите? Или уснули? — спросил он, не поднимая головы.

— Все, как в ясный день, ясно,— ответил Хвыля, шарясь в рюкзаке. Лапка, повидимому, учуяв запах съестного, тихо повизгивая, на брюхе проползла мимо Алешки.

— Если бы не мои фанатично настроенные предки, я давно бы дома был, а им мало, что сын их служил в армии, они ре-

шили проверить меня на прочность и одержимость — посоветовали побывать в Западной Сибири, там, где теперь, по их понятиям, замыкается множество современных проблем, в том числе проблемы войны и мира. Они ведь у меня геологи-романтики. Как любит козырять папаша, «нашли» меня в песках Каракумов. Чуть ли не в вещевом мешке в родильный дом привезли. Так отец и написал: «Ученость твоя никуда не денется, голова у тебя на плечах есть, а вот испытать себя в деле надо бы, дорогой сынок!» Что я, к их великому удовольствию, и делаю.

— Плохо, что ли? — спросил долго молчавший Юрий.— Это гораздо честнее, чем смотреть и видеть, как отцы и матери слезы льют, шарфики великовозрастным детенышам на шею надевают, пуговицы застегивают. Правильные, значит, твои родители.

— Еще бы! У папаши бы дух от счастья захватило, если бы увидел, как я на жестяном полу корчусь. Я даже представляю, как он поднял бы вверх руки и закричал: «Марусенька! Марусенька, ты посмотри на нашего отрока. Вот это дело. Вот это настоящее человеческое воспитание, достойное похвал!» А ведь не поверят. Вот даю вам честное слово — не поверят, что мы вот так среди трясины ночь коротаем.

От сырости и прохлады в вездеходе стало зябко. Это почувствовала Лапка, стала скрестись под креслом, поскуливать.

— Может, печку включить? — спросил Алешка.— Правда, я ей еще не пользовался.

— Не надо — вдруг да отравимся и окочуримся здесь ни за что ни про что.— Хвыля громко вздохнул, ойкнул, пытаясь вытянуть из-под сиденья правую ногу, и стоило ему повернуться на бок, как тут же послы-

шался храп. Хвыля вскочил, затряс головой, пробормотал:— Совсем заспался.

— Ну его к чертовой матери, греть это железо,— вставая с полу, говорил Алешка.— Уж если спать, так лучше на земле, на постланных ветках, чем на этом железе. Давайте двинем! Задний ход дадим, а там я дорогу вспомнил. Зимник-то здесь был, а еще объездная дорога была. Я пока лежал да вас слушал, вспомнил. Парни говорили, что заметку оставили: дерево горелое, а я промахнул мимо него.

Рассвет еще не наступал. Машина будто вошла в полосу густых облаков, которые успели с неба опуститься на землю. Ни одного пятнышка впереди, никакой полоски просвета.

— Ты брось,— останавливал Алешку Юрий, но тот уже по-хозяйски сидел на своем водительском месте.— Курнуть бы, что ли? — сказал между прочим, включая мотор. Рев мотора показался парням каким-то особенно сильным, чувствовалось, как содрогается весь корпус машины.

— Что мы, не в бронетанковых войсках служили, что ли! — крикнул Алешка, нажимая рычаги. Опять зловеще забулькала, зашипела вода. Алешка дал задний ход, и они поплыли, раскачиваясь по зыбким кочкам.

Туман рассеивался медленно, нехотя и лениво приподнимаясь с земли, висел в воздухе, окутывая холодной влажностью низкорослые кустарники, осыпая крупной росой ветки и пятнисто-багровые листья, одиноко висевшие до первого порыва ветра.

Машина неслась, грохотала и ревела, пугая сонных зверей и птиц. Стайками поднимались утки, улетали бочком, в сторону — не взлетали ввысь, а искали укрытия от неожиданного грохота.

— Скоро приедем! — обернувшись, за-

кричал Алешка.— Чувствуете, по грунту едем! Пуйковская площадь начинается.

Юрий и Хвыля молчали. Казалось, что у них не было сил открыть рты. Предутренний сон навалился на плечи, смежил глаза, головы так мотались из стороны в сторону, что у Хвыли слетела фуражка, и он, не почувствовав, тряс взлохмаченной головой, дышал глубоко, с захлебом, бормотал бессвязно сквозь одолевающий сон.

Впереди засветилась даль. На горизонте медленно расшторивалось небо, приподнимая темный, тяжелый полог ночи. Свет падал прямо на озеро, окруженное небывало для этих мест высокими елями. На возвышенном берегу показалась игрушечная избушка, а рядом две брезентовые палатки.

— Любуйтесь! — крикнул Алешка и тут же, положив руки на руль, уткнул в них лицо и уснул моментально, будто принял такое снотворное, которое сразило его наповал.

Над озером стоял невообразимый птичий гвалт. В заводи, в прибрежной луговине плавали утки и кричали на разные голоса, радуясь появлению первых лучей солнца. Они не испугались рева машины, и даже теперь, когда Хвыля с Юрием вылезли из кабины, неловкими, нетвердыми еще шагами вышли на песок, ни одна птица не поднялась на крыло. На чисто промытом песке четко вырисовывался след резиновых сапог. Кто-то прошел недавно вдоль берега.

А утки кричали, гоготали, били по воде крыльями, не замечая людей.

— А парни дрыхнут и ничего не слышат,— сказал Хвыля, бросая в озеро палку.— Такую красоту не увидят.

— Гляди-ка,— толкнув Юрия в бок, прошептал Хвыля, кивнул головой вдаль.

Над грудой сложенных ящиков стоял человек. Трудно было понять, что он там делал, но ясно, что не любовался ни озером, ни утками. «Значит, бывалый, если не захлебнулся с первого раза такой красотой!» — подумал Юрий, и вдруг что-то знакомое показалось в коренастой фигуре.

— Так это же Бобров! — округлив от удивления глаза, прошептал Хвыля.— Он, кстати, давно мечтал поработать на этой площади.

— А чего он там?

— Наверно, оборудование пересчитывает. Он ведь дотошный.

В руках Пашки, по всей видимости, был блокнот, он то смотрел в него, то наклонялся над ящиками, будто прятался между ними.

Хвыля свистнул. Пашка повернул круто голову, приложил ко лбу ладонь, закрывая глаза от ослепительно яркого солнца. Наверное, он тоже узнал их, махнул рукой, но пошел к озеру, с минуту стоял в воде по самую щиколотку, потом сложил ладони в трубочку, по-утиному громко прокрякал. Ему отозвались несколько птиц. И враз озеро будто покачнулось. Приподнялась черная туча птиц, опрокидывая на себя воду. Свистом свистел взрезанный крыльями воздух. птицы улетали в сторону Самозерья.

— Здорова! — закричал Хвыля, непроизвольно подняв вверх руки, и тряс ими со всей силой, приветствуя все: и Пашку Боброва, и Пуйковскую площадь, и лесную избушку, и все, что было вокруг.

Глава девятнадцатая

Через узкую щель в брезентовой палатке обозначилась полоска света. Она походила на тонкий прорез острым ножом.

Бобров повернулся в спальном мешке на правый бок, попробовал согнуть ноги в коленях и ощутил тупую боль. «Наверное, дождик будет,— подумал и с силой стал мять ноющие суставы, ощупывать через шерстяные кальсоны коленную чашечку и припухлость вокруг нее.— Может, это у меня от роду так, а я только заметил, а может, как говорит Леонид Нечаев, годы подвигаются». Пашке стало не по себе от неожиданной мысли, и он бесшумно выполз из палатки, как научился за многие годы кочевой жизни.

Утро наступало спокойное, полное октябрьской прохлады В низком небе через толщу тяжелых облаков пробивались солнечные лучи, тяжело осиливали их, будто морщились в тучах.

Птичий гомон на озере не удивил Пашку, и он не охал от восторга, не прятался в прибрежные заросли, не высматривал селезней через бинокль, чтобы различить их по оперению, как это было в первый раз, там, на Юганских болотах. Он любовался птичьей суетливостью, прислушивался к щелканью клювов.

— Не торопитесь, ешьте! Никто вас не торопит! — шептал, затаясь, Пашка. Но как бы там ни было, в первый или десятый раз равнодушно смотреть на таинства природы невозможно, и он, позабыв о нытье в коленях, спрятался в кустах, слушал гогот гусей и щелканье клювов уток, жадно глотавших озерную тину. Именно в этот час Пашка понял, как хорошо знает этот суровый, для многих непонятный край. Он знает о нем так много, что, кажется, уже ничему не может удивиться. Мог, к примеру, безошибочно угадать, что вся лесная боровинка сейчас усыпана нетронутыми гроздьями брусники, что во мшистой поляне можно найти шляпки подберезовиков, но все они

переросшие, раскисшие от дождей и первых заморозков и лежат на мхах коричневыми лепешками. Он без труда может заметить след соболя и найти глухариный ток. Да мало ли каких примет и красот знает! Зачастую Пашка мог безошибочно угадывать людские характеры, мог предсказать, надолго ли приехал человек, приживется ли, сумеет ли перехитрить жизнь, прикоснувшись к трудностям. Конечно, и у него были осечки, вроде той, когда ему принародно пришлось осознать это и протянуть руку Охапкову.

Он стоял на берегу озера, машинально застегивая пуговицы на куртке, распахнувшейся от неожиданного порыва ветра. Откуда-то потянуло дымком, и Пашка, как лось на незнакомые запахи, энергично повернул голову, глубже вздохнул, уловив дым с подветренной стороны. «Наверное, Еремей Пуйко! Где-то тут, недалеко».

Ему вспомнилась оленья упряжка и низенький черноволосый мужичок в теплой меховой малице, расшитой по подолу замысловатыми узорами. Пашке в Еремее было интересно все: и походка, и улыбка, и узловатые руки. «Пуйко!» Вот почему названо так новое месторождение. В честь такого, вроде бы ничем не примечательного человека названа целая нефтеносная площадь. Тогда, зимой, когда он приехал смотреть завозимое оборудование, видел Еремея на нарте в четыре сытых оленя. Бык-коренник с обломанным рогом опасливо смотрел на окружающих упряжку людей, фыркал, лизал большим шершавым языком снег. На нарте лежала закопченная, почерневшая от времени железная печь.

«Еремейка обратно возил. Еремейка думал, пусто-пусто будет. Народ не будет. Еремейка таскал печку старую избушку. Теперь бери. Грейся. Еремейка другой печка

есть. Бери!» Пуйко стащил с нарты железную печь, обхватил руками и, кряхтя, потащил в охотничью избушку. «Грейся, грейся,— смеялся Еремей, охлопывая пузатые стены печки.— Хорошо. Шибко хорошо греет». Пуйко шепелявил, путал гласные и шипящие звуки, но интонация, напевность слов, открытое, улыбчивое широкоскулое лицо светились добротой.

Тогда Пашка заметил, как шофер втайне от других позвал Еремея в сторону. Пашка не слышал, о чем говорил краснолицый шофер, он только заметил удивленные глаза Еремея и жест, показывающий, что у него ничего нет.

«Сгинь, саранча! Не лезь к человеку!» — закричал тогда Пашка на парня. Еремей посмотрел на Пашку, улыбнулся, обнажил черные гнилые зубы, ловко вскочил на нарту, взмахнул над оленьими спинами длинным хореем, поехал вдоль берега. Сейчас Еремей где-нибудь недалеко. Он видел, как вчера прилетел вертолет, и скоро появится из любопытства — узнать, зачем пришли сюда люди, и вообще узнать, для чего они привозят сюда много разного железа.

Пашке было хорошо. Он еще не мог определить от чего: то ли от воспоминаний о встрече с Еремеем, от которого веяло добротой, то ли от причастности к новому делу, то ли от предвкушения трудностей, когда особенно понимаешь свое истинное предназначение. Он посмотрел в сторону болотного мелколесья, на глубокую черную колею дороги, выбитую за зиму машинами, и отметил, что у природы, у неприхотливых трав и ползучих мхов, не хватило летних дней и силы, чтобы затянуть ее.

Рев вездехода вывел его из раздумья. Все знали, что вездеходом надумали ехать Хвыля с собачонкой и Юрий Перевалов. Пашка усмехнулся, представив, в какой бол-

танке провели парни почти полтора суток. Отношения с Юрием Переваловым так и оставались до конца не выясненными. Пашка признавался себе, что приезжий парень не простачок и даже по каким-то поступкам ему симпатичен. Конечно, мысль, что Юрий Перевалов выскочка и решил сразу заявить о себе, все еще не оставляла Пашку. Но, может, и правильно сделал Юрий, что ввязался в спор, однако эти сомнения возникли только после технического совета, когда Охапков своими доводами в пользу скоростного строительства буровой в рекордно короткий срок припер его.

И все равно встреча представлялась неловкой. Но громкий, восторженно-радостный крик Хвыли: «Здорова-а-а!», свист Юрия и взлет уток, все собранные воедино звуки, эхом разнесшиеся по округе, были самыми неподдельными и простыми.

— Здорова-а-а-а-а! — ответил Пашка. Закрыв глаза, он орал, широко раскрыв рот, и слышал, как крик его летел вдаль, перекатывался через озеро и эхом отзывался в полом осеннем воздухе.

Из палаток на четвереньках выползали парни. Еще не проснувшись, жмурились от ослепительных лучей солнца, будто нарочно корчили смешные рожи.

— Ух ты, брат! Это же чудо, ух ты, брат! — охал конопатый сварщик, расчесывая пятерней слежавшиеся рыжие волосы. Он стоял, расставив ноги, покачивался взад-вперед, будто собирался сдвинуть себя с места, но не мог. Потом сделал несколько неловких шагов, запнулся, но так и не отводил глаз от гогочущих, улетающих птиц.

— Ружье бы! — крикнул кто-то.— Шарахнуть дуплетом вслед!

— Ну, ты! Неужто руку можно поднять на такую красоту? — возмутился рыжий парень через плечо, не оборачиваясь.

Дул ветер, рябил и морщил в складки темную поверхность воды. Никто пока не вдумывался, не пускался в рассуждения и философию, не задавал себе вопроса: хорошо здесь или плохо? Это начнется вечером, когда каждый по-своему воспримет и почувствует свое присутствие. Будет сожаление, раскаяние, будет недовольство и ругань от неустроенности и оторванности от того, что в обычной жизни принимается человеком как само собой разумеющееся, будут сравнения, смех и огорчения. А пока все словно онемели, не находили подходящих слов, не знали, кому чем заняться, куда идти. Стояли, оглядываясь.

Для себя Пашка давно определил работу, но ему было любопытно, как станет поступать новый звеньевой, которого Охапков принял с первого дня чуть ли не в объятия. Но если Юрий окажется размазней и бестолочью, то он, Пашка, не оставит дело на произвол судьбы, не будет стоять в стороне и поглядывать, куда кривая выведет. Не затем он приехал сюда.

Мимо него по берегу пробежала Лапка. Ее собачьей натуре здесь было самое приволье, но она тоже еще не очухалась от езды в вездеходе и жадно обнюхивала воздух. Но вдруг залаяла — ушки торчком, хвост калачиком, она будто подпрыгнула на высоких тонких ножках и опрометью бросилась в лесистую боровинку. Собачий лай летел в воздухе, отдавался эхом в болотах и возвращался со стороны леса.

— Кого-то учуяла,— сказал Хвыля. В это время со стороны озера донесся плеск, будто со дна выплыла рыбина и хлестнула по воде хвостом. Но метрах в тридцати от берега вынырнула рыжая голова Костисварщика. Широкие круги покатились к берегу — ополаскивали, разравнивали следы на песке. Брызги искрами вспыхивали над

головой Кости, и от каждого взмаха рук поднимался праздничный фейерверк.

Купаться бросились все, будто только этого и ждали. Уханье, плеск, фырканье наполнили берег, и только Алешка-водитель еле-еле поднял голову.

— Разводи костер! — кричали парни из озера, увидев, что он выполз из кабины. На забрызганном грязью вездеходе кто-то успел четко вывести пальцем: «Лапоть, вымой машину!» Алешка сразу выпрямился, уткнул руки в бока, стоял и размышлял, кому же из парней не понравился вид машины. Удивительного в этой надписи не было ничего, но — когда? Вроде бы все только открыли глаза.

— Твоя работа? — закричал Алешка Косте, выскочившему из воды.

— Моя-я-я! — кричал тот из-за палатки, прыгая на одной ноге и отыскивая штанину, намереваясь не ступить поднятой ногой на песок.— А что?

Алешка ничего не ответил, он просто подумал, что Костя тоже только-только пришел из армии и, по всей видимости, любит порядок и чистоту. Плеснув бензину под корягу затухшего с вечера костра, Алешка бросил зажженную спичку. Столб огня взметнулся ввысь, облизывая огненными языками темные головешки.

Пашка с Юрием вылезли из воды одновременно. Тело у Юрия, загорелое, упругое, казалось Пашке вылитым из бронзы, хотя и сам он был не хлюпик. Не ссутулило время, прожитое на Севере, не сделало плечи тяжелыми и покатыми от работы. Только казался себе бесцветной синявкой против гриба-боровика, но подумал: загар — дело наживное. Вспомнил, что лет пять уже не отдыхал по-человечески, не купался в море, не загорал на песке.

— Ну как тут дела, Павел Маркович? —

разгребая руками воду и ощущая прикосновение прибрежной травы-плавуна, неожиданно просто спросил Юрий.

— Черт его знает — не пойму,— охотно ответил Пашка, поправляя на голове волосы.— Искать все надо, валили кто куда, лишь бы сгрузить, а часть оборудования по дороге оставили. Наверное, видел, сколько нашего добра по обочине валяется?

Юрий вспыхнул, ему было неловко признаться, что по дороге от сильной тряски он почти не смотрел по сторонам и ничего не заметил.

— Без дела не будем,— тихо добавил Пашка.

Глава двадцатая

В подъезде темно. Первых шагов пять он шел на ощупь, пока не вцепился пальцами в перекладину деревянных перил. «Едят их, что ли, эти лампочки?» — с раздражением подумал Братцев, устало поднимаясь по ступенькам до третьего этажа. Скважину в двери нашел удивительно быстро и, щелкнув замком, оказался в квартире. С минуту стоял, прислонившись спиной к косяку, потом лениво стащил шуршащую болоньевую куртку, снял берет, сапоги и, не зная почему, на цыпочках пробежал к дивану, облегченно вздохнув, лег.

Галстук и верхнюю пуговицу на рубашке расстегивал лежа, с закрытыми глазами, чувствуя, как тяжелеет рука, непослушно шевелятся пальцы, в висках дятлом стучит кровь, как, напрягаясь, тяжелеют веки. Иван Аркадьевич старался заснуть. Верно говорят, подумалось сквозь сон: «Пришел милый да и повалил силой», а сам держал в руке телефонную трубку, из которой доносились протяжные гудки. Он не знал, то ли в самом деле звонили, то ли телефонный

звонок приснился, но так или иначе он уже был бодр. Ощупав рукой обитый нарядной тканью диван, наклонился, увидев возле ножки какой-то ярко-красный предмет. Братцев из любопытства полез, вытащил его: оказалась детская крохотная машинка «Волга». Маленькие колесики, кабина, круглая баранка — все, как у настоящей.

Он, как Гулливер, держал на ладони машинку, рассматривал и думал, сколько радости могла бы она принести ему в те его, теперь уже далекие годы трудного детства. Словно воочию увидел собственноручно сколоченный деревянный «трактор», у которого два передних колеса были большие, а задние — маленькие. По бокам продолговатой рамы на длинных гвоздях прибиты аккуратно выструганные ручки, которые помогали поворачивать задние колеса. Главным в собственного изобретения машине были педали, согнутые в ремонтной мастерской из железного прута. Их сделал Ваньке Братцеву токарь Генка Голдобин за то, что он, Ванька, умел смешить его, корчить всевозможные рожи. Соединив педалью два передних колеса, Ванька садился на деревянную доску-сиденье. «Трактор» двигался по пыльной площадке почтового двора. Ребята сбегались со всей улицы. Он отдыхал, стоял и думал: кому дать первому прокатиться? Конечно, ему хотелось, чтобы первой проехала Ритка. Он видел, как она стояла поодаль, хмурилась и челка закрывала ее глаза. Ванька знал, что она вот-вот разревется, а ребята снова будут дразнить их: тили-тили тесто — жених и невеста, и все равно, к удивлению парней, с напускной важностью крикнул: «Где там Ритка? У меня с ней уговор — первую прокатить на «тракторе». Где бы я взял солидол, если бы не она? Вона! — оправдывался он, краснея.— Колеса-то надо было смазать».

Ритка вмиг оказалась на Ванькином месте, взмахом головы отбросила со лба длинную челку, откинулась назад и начала с силой вертеть педали. Подол ситцевого платья скатился, а она, ни на кого не глядя, часто взмахивая худыми острыми коленями, объехала двор и выехала в раскрытые ворота на сельскую улицу.

Прохожие останавливались, хохотали, и только тетя Луша, пекарка, поравнявшись, крикнула: «Ритка ты, Ритка. Постыдись. Ужо не маленькая этак при парнях ноги-то задирать!»

Ритка тут же вскочила, но, видимо, так и не поняла, в чем обвиняла ее тетя Луша. Она просто устала крутить тяжелые деревянные колеса, стояла, отряхивая с подола пыль, улыбалась Ваньке Братцеву. «Где ты теперь, Ритка? Вернее, Маргарита Михайловна. Говорят, вышла замуж за Алешку Барташова, старше ее лет на десять, и домой, в село, тоже приезжает редко. А как приедет, писала в письме мать, ходит по селу барыня барыней. А чего ей не быть барыней? — подумал Братцев, вспомнив серые Риткины глаза. Они всегда улыбались, и Братцев никогда не видел их печальными.— Нет! Стоп. Видел, когда уезжал учиться в техникум. Разве тогда я мог подумать, что она загрустит обо мне? Ритка красивая. Глазища у нее большие, и все время из них будто искры сыпались. Боялся ее. А потом как-то при встрече сказала: «Я знаю, сколько у тебя галстуков» — и перечислила все три, с разными полосками. У меня тогда мурашки пробежали по коже».

Маленькая машинка, нечаянно оставленная Андрюшей, увела его память к далеким годам, из которых так не хотелось возвращаться. Вспомнил он и об Алевтине Петровне, но мысль о ней только пролетела, будто задела его мимоходом. Перед глазами

стояла Ритка, та озорная, доморощенная. «И что это мы в жены берем кого попало? Нет чтобы своих, про которых знаешь всю родословную до десятого колена, а то все получается, как в пошлом романе. Вот Ритка, наверное, не уехала бы, не предъявила претензии мне о кочующей жизни. А кто их, этих женщин, знает? Кто знает, что они предъявят тебе в вину? И по какому праву должны предъявлять?— рассердился Иван Аркадьевич, сунул под диван игрушечную «Волгу» и пошел на кухню ставить чайник.— Маргарита Михайловна! Маргарита Михайловна! Вот бы взглянуть на тебя одним глазком,— все равно думал он, уже не контролируя свои мысли, и испытывал внутреннюю радость от воспоминаний, которые так нечаянно, но так вовремя пришли к нему в этот поздний осенний вечер.— Вот узнаю все о ней, и если что неладно — позову: хоть сколько у нее ребятишек. Пусть! Разве дело в ребятах, если человек по сердцу. Если родились — пусть растут, пусть живут себе на здоровье, а мы уж всякий раз плечо подставим. Кому же еще, как не нам, взрослым, делать это? И при чем тут ребята?— Братцев почувствовал, что думает и размышляет о чем-то невероятном, фантастическом и неправдоподобном. Он заметил, что и рассуждения и слова у него оттуда, из далекого далека, а не его.— Так говорил и рассуждал отец, а я теперь все забыл с делами и заботами. Живу как бобыль — вроде так и надо, вроде в этом управлении производством состоит вся моя личная жизнь. Проклятие! Оставлю все к чертовой матери, уеду! Буду жить, как все нормальные люди!»

Закипел, зафыркал на плитке чайник. Из высокого рожка струйкой вылетал пар, оставляя потную полоску на кафельной плитке. Он прихватил чайник полотенцем,

стал заливать заранее положенный в стакан кофе. Ароматный запах промолотых зерен наполнил кухню.

Зазвенел телефон. Братцев стоял, с минуту раздумывая, брать или не брать трубку. Подошел, поднял ее с небрежностью.

— Вас вызывает Тюмень,— услышал ясный голос телефонистки, будто она прикоснулась губами к уху и крикнула четко и раздельно каждое слово. Ни шума, ни треска, только дыхание Ласточкина услышал Братцев в первое мгновение и потом сдержанное приветствие.

— Благодарю,— ответил Братцев, с размаху бросая на диван полотенце.— ...Не считал нужным вас лишний раз беспокоить... Да, отправили. Улетели. Есть. Все пока есть,— односложно отвечал Братцев, представляя сидевшего в кресле Ласточкина, вычеркивавшего из составленного перечня те вопросы, на которые получил удовлетворявшие его ответы...— Я? Завтра. Хорошо. Позвоню. Нет-нет. Я вызову вас сам, как только вернусь с Пуйковской площади... Срок? Не думал. Пока не до этого... Что вы? Это невозможно! — краснея, отвечал Братцев.

Ласточкин, к его великому изумлению, назвал месячный срок строительства первой буровой вышки на Пуйковской площади, утверждая, что вышкомонтажники при хорошей организации труда в состоянии сделать это.

— Это может быть на Самозерье.— И услышал от Ласточкина:

— На Самозерье, если нам понадобится, мы смонтируем вышку за три дня. Да, да. За трое суток!

Братцеву не хотелось отвечать Ласточкину с той же легкостью, как тогда, после первого звонка, в разговоре о вылете на новую площадь.

— А вы не упирайтесь. Подумайте,— тихо говорил Ласточкин, понимая причину осторожных ответов Братцева.— Я ведь ждал ваших звонков, чтобы помочь, а вы все так проворно сделали и держали старика в неведении. Так сказать, тоже испытывали прочность моих нервов?

— Ну что вы! — протянул Братцев.— Мысли такой не было.

— Знаю я вас. Вам бы только со стариками спорить. Одним словом, завтра жду вашего звонка и точного определения срока окончания строительства буровой на Пуйковской, а пока разрешите пожелать вам приятных снов.

— Всего хорошего,— Братцев прихлопнул ладонью по столу и пошел пить холодный кофе. «Все путные люди пьют кофе утром, а я на ночь глядя»,— придираясь к себе, ворчал Братцев, отхлебывая редкими глотками настоявшийся напиток.— Месячный срок, конечно, может быть реальным, если все под руками, скомплектовано оборудование, а так кто знает, что там. Кот в мешке. Надо лететь! Вот тебе и «живи спокойно», «ни о чем не думай», «не торопись»,— говорил он вслух, будто перед кем-то оправдывался, и если бы на улице была не ночь, тут же отправился в аэропорт.

Он полетел, как только по световому времени вертолету разрешили взлет.

В преддверии нового дня земля просыпалась: дышали леденистой испариной болота, поднимая ввысь густой белый туман. Оголенные ветки берез с высоты казались тонкими нитями, нависшими над удивительно белыми стволами, зато хвойные перелески темнели черными пятнами, а бесчисленные озера всевозможных форм и размеров четко и ясно вырисовывались среди бурых трав, будто обведенные на карте черным карандашом.

Братцев не переставал удивляться сибирской природе. Во все времена года он умел замечать что-то необычайное, всякий раз новое для своего глаза. Теперь его заворожила дорога прошлогоднего зимника: извилистая, с поворотами и объездами вдоль непроходимых болот, с крутыми спусками к берегам безымянных речушек, она походила на темную змею, ползущую и извивающуюся по топкой низменности. Прищурив глаз, Братцев делал прострел напрямик, в уме подсчитывал, на сколько короче будет дорога на Пуйковскую площадь и в какую копеечку выскочит государству каждый километр, если на Самозерье, по самым скромным подсчетам, он обошелся в кругленькую сумму — один миллион рублей!

Вдали показался столб дыма, и вертолетчик, стараясь сделать посадку на круглый песчаный пятачок, круто накренил машину. Земля покачнулась, деревья и кустарники, будто враз подпиленные, повалились, выставив стволы. И люди на земле будто тоже покачнулись, но машина уже вышла из виража, и все стало на свои места.

Сколько бы ни летал Братцев, но неизменно видел людей, ожидавших вертолет, в одной постоянной позе: широко расставленные ноги, задранные вверх головы и нетерпеливые взмахи рук. Он вспомнил Казымскую тундру. Был май. Солнце яркими лучами стреляло по осевшим сугробам. Поднялся посиневший лед, зажурчали еще не помутневшие потоки, и дорога в одночасье рухнула в полые воды. С какой тоской смотрели они в небо! А когда прилетал вертолет, бегали по небольшому зыбкому островку, бухали сапогами-болотниками по вздобренным мхам, освободившимся от снежной тяжести. Бегали, запинаясь и падая, но руки неизменно были вверху. Поче-

му-то казалось, что вертолет может улететь, не заметив их.

Мощные струи воздуха срывали с озера воду, с высоты метра просеивали ее, будто через сито, и вода хлюпалась в озеро крупными тяжелыми каплями. Потом завихрил песок, и парни, отвернувшись, подставив спины, стояли и ждали, пока заглохнет мотор и винт станет сбавлять обороты.

Братцев выскочил из вертолета по-молодому, напрямик пошел к костру. Лапка, встретив его лаем, бежала то впереди, то отставала, обнюхивая отпечатавшиеся на песке следы.

Мысль об окончании строительства буровой в месячный срок еще больше показалась Братцеву невероятной, потому что, кроме двух палаток и костра, ничего еще на площадке не было. Костер, размахивая розовыми языками огня, разметывал гаснущие на ветру искры, манил к себе горьковатым дымом. «С чего начинать? С чего начинать?» — от этой мысли он никак не мог отвязаться. Все сделанное до этого вдруг показалось Братцеву мелочью перед строительством новой буровой на Пуйковской площади. Вроде везде начиналось легче: была обжитость, рядом базы, а тут? Но это — в первую минуту. Вспомнились десятки примеров, когда многое казалось почти невозможным, хотя бы сроки строительства экспериментальной буровой: сколько было шуму, ругани, да что говорить — всего! А потом все оборачивалось своей самой лучшей стороной. Только ко всему надо приложить руки, во все поверить. «Будет и тут все в порядке. Будет,— думал он, но понимал, что пока уговаривает себя, а внутренний голос, вселившийся бесом, шептал: — Ты посмотри, какой пустырь? Где оборудование? Где дорога? Где жилье, а скоро нагрянут заморозки!» — Братцев по-

смотрел на свинцовую гладь озера, повел плечами, на миг представив, какая в нем холодная вода.

— Это оно теперь хмурым да холодным кажется,— говорил Хвыля, уловив взгляд Братцева.— А утром, после отлета птиц, здесь же красота была — словами не скажешь, и утки ночью воду грели, мы и не устояли, скупнулись!

— Ну что тут у вас?— спросил Братцев, не зная, к кому конкретно обратиться.

— Строители прилетели. Вчера вечером думаем — еще наши летят, а оказалось — строители. С их стороны, чуете, тоже дымком тянет. Да с часу на час Еремея Пуйко ждем — хозяина здешних угодий. Павел Маркович говорит: видел вдали лодку,— выкладывал все Хвыля.

«Вот и первые новости»,— подумал Братцев. Он уселся на ствол поваленного дерева, отдирал пальцами отопревшую кору, улавливал запах смолы и тупо смотрел на носки сапог, оказавшиеся в золе костра. Пашка стоял поодаль, наблюдал, как ведет себя Юрий Перевалов. Он не завидовал ему в эти минуты.

— Так как, Павел Маркович? Твое слово тут главное,— к великой радости Юрия и неожиданному изумлению Пашки, спросил Братцев. Пашка сделал несколько неловких шагов.— Как тут дела? Что есть? Чего нет? В позу один перед другим вставать не будем, Павел Маркович. Дело общее, а лучше тебя никто здесь ничего не знает — тебе и слово. Садись вот рядом, и все начистоту, как думаешь.— Братцев похлопал ладонью по бревну, указывая Пашке место рядом с собой.

...Братцев улетел во второй половине дня. Они с Пашкой ходили к строителям, побывали в лесистой боровине, в записях пересмотрели завезенное оборудование.

Кружки, которые в Пашкиной книжке были обведены дважды, означали недостающее, и это недостающее надо было любыми путями и средствами доставлять на Пуйковскую площадь, чтобы не сдерживать работу.

Когда сырые сумерки стали спускаться на землю, туман пополз из болот и ложбин, Пашка не полез в палатку, а пошел вдоль берега озера. Ему хотелось подумать, поразмышлять о Братцеве, который так просто и высоко поднял его в глазах всех. Он удивлялся его мудрости, его словам, сказанным в самое нужное время.

В воздухе разнесся свист. Летела запоздалая стая уток. Пашка поднял голову, чтобы определить, на какое озеро поманит стаю вожак, и скорее услышал, как почти рядом хлопнули по воде утиные крылья, будто вся стая разом вздохнула, давая усталым крыльям отдых.

Глава двадцать первая

Приоткрыв глаза, Братцев удивился яркому свету. Приподнял голову. В приоткрытую форточку дул ветер, приподнимал штору, и она немощно взлетала подраненной в крыло птицей. Осененный неожиданной догадкой, вскочил: «Снег! Так рано снег? Да куда это годится? — с тревогой подумал он, сразу вспомнив Пуйковскую площадь и невывезенное оборудование.— Правду говорят: первый снег весть подает, а уж через месяц намертво ляжет»,— старался успокоить себя.

Он поежился, потом припал лбом к холодному стеклу, ощущая на щеке прохладу, как в детстве, в пору первого снегопада, когда мать срывала с дерева голую ветку, осыпанную первым снежком, и ле-

тонько била его по щеке, стряхивая снежинки и приговаривая: «Торопись, сынок, посмотреть на первый снежок, оставить на нем первый следок! А нето Витька Пузырь опередит тебя». Мать верила, что первый снег приносит счастье. Верил в это и отец. Почесывая затылок, приговаривал: «Зверью жизнь пришла привольная, шкурка поспела. Они теперь бегают, чихают — к новому воздуху привыкают!»

Рев большегрузной машины рассеял мысли. Машина казалась грузным, неуклюжим чудовищем, способным только рушить красоту. Но водитель, видно, тоже был зачарован первым снегом, вел машину тихо, плавно, оставляя по первому снегу на дороге темный след.

Братцев позвонил по телефону, вызвал машину и стал искать меховую шапку. В шкафу перерыл все вверх дном, а она висела перед глазами на гвоздике, стоило только поднять голову. Примерил перед зеркалом, повертел на макушке и, озорно прихлопнув сверху ладонью, вышел на улицу. Пахло снегом.

Он сидел на кожаном сиденье, покачиваясь и безразлично глядя по сторонам. Мимо неслись машины, залепляя грязными брызгами стекла. В стороне грохотали гусеничные тракторы, ползли, бороздили тяжелыми полозьями сани с деревянными домиками-теплушками, и казалось, что все это ехало и ползло для того, чтобы подмять под себя рано выпавший снег.

— На месторождение? — спросил шофер, убирая с колен рассыпанные ветром путевки.

— В управление, — сухо ответил Иван Аркадьевич.

На широком дворе базы стоял шум, треск, скрип, тарахтение машин. Трудно было определить, куда пятится трейлер,

куда поворачивает кран, все было в беспорядочном движении, будто кто-то враз нажал кнопку, завел все моторы, и они, грохоча на холостом ходу, раскручивались, набирая разбег.

Коля Вдовенко нырнул за угол, стоило машине Братцева показаться издали. «Как там, на Пуйковской? — с самого утра мучила Братцева мысль. Разыгравшаяся непогода, определил, пришла на Самозерье с северной стороны. Он знал, что вышкомонтажники живут там в деревянном балке — днями строители сдадут первый рубленый дом, что продуктов хватит не на один месяц.— Но завезли ли к ним газовую плиту? Два дня назад по рации передавали, что газ есть — плиты нет. Еду готовят на костре. Безобразие!»

— Вдовенко, пожалуйста! — сказал секретарю, широко распахнув дверь кабинета.

Коля явился тут же, осторожно переступая порог, будто вталкивал себя: колени согнулись, шапка нахлобучена на лоб так низко, что прикрывала глаза, словно не он пять минут назад размахивал во дворе руками.

— С транспортом все в полном порядке,— шепотом проговорил Коля, садясь на край стула. Братцев молчал.

Маленькие глазки Коли бегали по сторонам, вздрагивали, словно кто-то подергивал их изнутри ниточками, не давал возможности взглянуть на Братцева. Сдвинув со лба козырек, Коля заметил на смуглом лице начальника улыбку, которая не на шутку его смутила.

— Где голос потеряли? — спросил Братцев.

— Стыдно признаться — от волнения горло перехватывает. Между прочим, это со мной каждый год в день, когда выпадает снег или начинаются заморозки.

— Как дела на Пуйковской? Завезли все?

Коля вспыхнул, глотнул воздух, положил ладонь к горлу, кивнул.

— Все? — переспросил Братцев, зная, что Вдовенко только и ждет момента — выскочить из кабинета. Он даже ногу повернул в сторону порога.

— На Пуйковскую все завезено?

Коля покачал головой:

— Газовой плиты нет. Не завезли. Снабженцы нигде найти не могут. Не мог же я из-за такой ерунды вчера задерживать вертолет.

— К чертовой матери! — стукнул кулаком по столу Братцев. Показалось, что от неожиданного крика начальника приоткрылась дверь. — Вон отсюда! — кричал он, выходя из-за стола. — Вон! Чтобы духу вашего тут не было. Десять дней там люди едят всухомятку, кипятят на костре чай, им дали месячный срок строительства, а я тут вожусь со снабженцами. А потом будем думать, гадать, не урезать ли премиальные с них за какую-нибудь оплошность или за срыв срока. Вы-то хоть думаете, что значит ваше невыполнение прямых обязанностей? — Братцев расстегнул пуговицу на вороте, сел, постарался успокоиться, но не мог. — Увольняйтесь! Или я вас под суд отдам!

— Не имеете права, — достаточно громко ответил Вдовенко, в упор глядя на Братцева, который от неожиданности отпрянул на спинку стула.

— Имею! — тихо произнес Братцев.

— У меня есть договоренность в одном предприятии, — начал было Вдовенко.

— ...И никакого перевода не будет, — уже спокойнее продолжал Братцев.

— Так я же потеряю северные надбавки. Это несправедливо...

— Очень даже справедливо. Законы пишу не я.

Коля не уходил: слова «отдам под суд!» ошарашили его, и не было сил собраться с мыслями. А мысли все вертелись возле только что проданной по спекулятивной цене машины. Коля думал, что Братцев узнал об этом.

— Можете писать хоть в профсоюзы, хоть куда,— говорил Братцев, успокоившись, не желая смотреть в сторону Вдовенко, который еще долго стоял в дверях, шепча что-то...

В кабинете Братцева тоже было холодно. В неутепленные окна дул ветер, приподнимал и пошевеливал на столе диспетчерские сводки. Все сообщения в них начинались со слова «снег». По селектору пригласил в кабинет диспетчера.

Диспетчер Колобов приехал на Самозерье нынешним летом и не переставал удивляться то затяжным дождям, то обилию грибов и ягод, то необузданности и ловкости молодых парней, то медлительности снабженцев, то расточительному использованию металла. Одним словом, все неурядицы возводил в культ и относил их к явлениям, характерным только для этих мест.

Братцеву показалось, что Колобов сильно похудел: узкие плечи приподнялись, глаза запали, резко вырисовывался тонкий нос, и еле приметная горбинка на нем заострилась, придавая лицу выражение вспугнутой птицы.

— Сколько сделано передвижек? — спросил Братцев, приглашая Колобова к столу.

— Какие передвижки? — ответил диспетчер и глухо закашлял.

— Вы что, тоже простыли?

— Нет. Просто озноб. Колотит. Я, знаете ли, здесь первую зиму встречаю. Оказывается, это не так просто. Она, знаете ли, производит удручающее впечатление.—

Колобов прижал руки ко рту и стал дуть в кулаки.

— Да. Тут привычка нужна.

— От буровиков три заявки было на передвижки станков, но мы не выполнили. Такой снежище.— Тут Колобов будто подпрыгнул.— Вспомнил. Хотел ведь в первую минуту доложить: Леонид Нечаев в бригаде Михаила Геннадьевича Лопатина один себе произвел передвижку станка. Эти данные достоверные, точные. Я лично сам разговаривал с Лопатиным по рации. Лопатин человек серьезный — зря говорить не станет. Правда, при наших объемах это мертвому припарка, но все-таки! Все-таки! — В голосе Колобова, хриплом и вялом, Братцев уловил горделивые нотки, и стало легче на душе.

Диспетчер топтался на одном месте, не зная, что еще говорить начальнику. Пересохшие половицы скрипели.

— Вы, Савелий Павлович, возьмите себя в руки, а то как посмотришь на вас — не по себе становится.

— Прямо не знаю, Иван Аркадьевич,— похлопал себя по впалой груди Колобов.— Напал на меня какой-то страх. Особенно ночью, а вдруг, думаю, каждый день так будет? Конечно, крепиться буду. Неловко домой возвращаться. Живут же здесь люди. А мысль уехать приходила ко мне ночью. Бросить все и уехать.— Колобов морщился, теребил на шее шарф, смотрел на Братцева выжидательно.

— Что ж уезжать? Сами видите, сколько у нас работы — и вся еще впереди.

При этих словах робкая улыбка тронула посиневшие губы Колобова.

— Чего говорить, дел располным-полно. Я как только подумаю о наших планах, так у меня, верите ли, голова кругом. Неужели под силу?

— Под силу, Савелий Павлович. Вот оборудование с Ваха вывезем, на Пуйковской площади новую буровую смонтируем, и все пойдет по порядку.

— А Нечаев-то подвиг совершил. Истинный подвиг,— уже у двери сказал Колобов, улыбнувшись Братцеву. Тот в ответ кивнул головой.

...Леонид Нечаев оказался на буровой Михаила Геннадьевича Лопатина вроде бы неожиданно. Эта буровая находилась километрах в десяти от бетонной дороги, между тремя озерцами. Еще летом, во время монтажа буровой, как-то после обеда Леонид сошел с насыпной площади, перешагивая с кочки на корягу, вышел на топкий, илистый берег и, рассматривая в нем воду, не поверил глазам: полосатые красноперые окуни размером, как говорят, в лапоть стояли в парной воде, еле заметно пошевеливая плавниками. Окуни не отплыли от берега, а только посторонились, когда он бросил на воду сухую ветку. Леонид пошарил в карманах, но они оказались пустыми, если не считать двух нарезных гаек. Поймал какую-то букашку, бросил в озеро. Плеск нарушил тишину, замелькали, заперевертывались желто-золотистые бока окуней, волнистые разводы покатились по озеру.

Назавтра все приехали с удочками. Ловили окуней и увозили домой полными рюкзаками. Окуни оказались неразборчивыми — клевали на червей, букашек и даже на хлебные катышки. Но, закончив строительство, вышкомонтажники ушли, и скоро про озеро, которое все стали называть Окуневым, забыли.

Вспомнив, что передвижку придется производить возле Окуневого озера, Леонид с вечера стал готовить удочки, положил в банку жирных червей, заготовлен-

ных в огороде Феклы Ивановны, куда ездил специально и рыл часа два под гнилыми досками возле старой конюшни. Он думал, что сможет выкроить часок-другой во время пересменки, но решил не путать часы, не выкраивать и не высматривать, когда где окажется «окошечко», а с чистой совестью порыбачить в свое удовольствие.

Проснулся утром ни свет ни заря, спроворил завтрак, надел на плечи вещевой мешок и пошел на автостанцию. Доехал с буровой бригадой Лопатина до самого места и — напрямик к Окуневому озеру. И вроде не узнал его: вода темная, с неба тучи нависли хмурые. Забросил удочки, смотрит, не то — нет клева. Рыба раньше человека чувствует непогоду. «На таких-то червей пять штук сонных окунишек?» — удивился.

Снег повалил неожиданно, враз. Сплошная стена посыпалась с неба, будто над озером разорвались, лопнули облака. Потерялась из виду буровая, кочки стали походить одна на другую. Стало неуютно, неловко, сырые хлопья падали на воротник, за шиворот. Заторопился Леонид, набросил почти пустой мешок на левое плечо, зашагал. Под ногами жулькала снежная няша, а вокруг стоял монотонный шорох падающего снега, и только однообразный гул насосов эхом разносился по округе, гудел по-особенному, угрожающе, глухо. Он вышел на буровую, постоял, посмотрел в сторону дороги. Она только угадывалась по канавам, проведенным для весеннего стока воды. «А вдруг да не приедут ребята. Не пробраться. Такой снежище и в ночь!» — думал Леонид, стряхивая снег с прорезиненной спецовки.

— Вышкомонтажники. Вот вовремя, как чувствовали! А я думал, дал заявку на пере-

движку — а тут такой снегопад,— услышал сзади голос Михаила Геннадьевича. Буровой мастер чуть картавил, и Леониду всегда казалось, что во рту у него какой-то катышок, стоит его выплюнуть, и каждое слово будет четким и ясным. Буровой мастер, верно, забыл, что Леонид ехал с ним в одном автобусе.— А я гляжу на дорогу, думаю: сорвем передвижку, не пробраться вышкомонтажникам. Если бы днем — другое дело. А мои идут последние метры.

Увидев вещевой мешок, буровой мастер с минуту стоял в раздумье.

— Так вы, как я догадываюсь, один?

— Один! — развел руками Леонид.— Один! — Была в его жесте беспомощность, вроде бы вызов: «Что, мол, вы от меня возьмете? Да с меня хоть шкуру сними, а все равно больше не сделаешь». Но потому и тряс он, разбросив в стороны, руки, что в голову пришла дерзкая мысль. Он попятился, представив, как буровая двинется с места и медленно покатится по рельсам. «Летают же космонавты одни? А какая махина! Или в войну шли одиночки в бой с «тиграми». Что они, с другими руками, ногами? Была у них цель. А что у нас, ее нет, что ли?» Если бы раньше пришла к нему такая мысль, он смеялся бы над смельчаком. Леонид снял шапку, обтер подкладкой лицо, поворошил пятерней слежавшиеся пряди светлых волос.

По металлическим ступенькам в культбудку поднимались буровики, закончившие бурение нефтяной скважины. Они стряхивали с сапог снег, шуршали у порога брезентовой робой, снимали ее, как легкий панцирь. Напахнуло горьковатым запахом перемешанного бензина, масел, цемента. Леонид любил этот запах. Даже если после

стирки Нюра бурчала, что не может никак прополоскать и отпарить эту въедливую гарь.

Парни устали, говорили отрывисто, односложно, постепенно отходя от шума и тряски, где больше приходится объясняться только жестами.

Бурильщик Рафат Манигустов растянул в широкой улыбке толстые губы, не без радости подошел к Леониду Нечаеву, протянул руку:

— Ну, вышкомонтажники всегда на высоте!

«Они не знают, что я здесь один. Не думают, что передвижка будет сорвана»,— подумал Леонид и бочком вышел из культбудки.

Буровая вышка стояла как могучий исполин среди мириадов снежинок, покрывающих стальные фермы и перекрытия. Тускло горели окутанные бусым светом лампочки, а вокруг — тоскливая, непривычная тишина. Даже снег теперь падал на землю, на лес, на болото, на все оборудование и вышку бесшумно. «Сколько еще будет идти этот снегопад?» — думал Леонид, идя к буровой и сам не зная, для чего считает шаги. Подошвы сапог скользили по снегу.

Он залез под буровую. Там было тихо и безветренно. Могучий корпус вышки, вспомогательные сооружения оградили железнодорожные рельсы, на которых стоит основание вышки. Здесь Леонид знал каждый винт, каждый болт. «Можно передвинуть, можно. Конечно, не одному, а с помощью буровиков, с трактористами, которые тут, в культбудке». Леонид чувствовал, как ему стало жарко, будто из-под земли дохнуло теплом. Он выскочил из-под буровой, но тут же вернулся обратно, на ощупь искал места креплений, дышал часто и громко, будто ему не хватало воздуха.

— Можно! — И решительно заторопился к сараю с инструментами.— Можно, можно, можно! — шептал Леонид. Теперь даже двадцать человек самых опытных-разопытных вышкарей не смогли бы его убедить, что этого сделать невозможно. Он со всеми будет спорить, а докажет и готов был идти на любое пари.

— Ну что, куковать будем? — спросил Михаил Геннадьевич, когда он, порозовевший от ветра, вошел в культбудку.— А времени жаль!

— А мы с вами ее передвинем,— сказал Леонид, присаживаясь на стул возле стола бурового мастера. Тот, по-видимому, не сразу понял его — писал, а потом, медленно положив на лист бумаги ручку, както осторожно, исподлобья выкатил на Нечаева большие глаза. Они были зеленые-зеленые. Черный зрачок, как гвоздик, пришпилил Леонида, но Леонид не моргнул и, так же в упор глядя на Михаила Геннадьевича, говорил одними губами:

— Мы ее передвинем! Передвинем! — и чувствовал, как мелкой испариной покрылся лоб. Они с минуту сидели и молчали. В окно вагончика сыпал снег, от ветра в раме дребезжало стекло.

Михаил Геннадьевич выкурил подряд две папироски. Курил жадно, словно глотал дым, сосредоточенно смотрел в окно, но видел на темном стекле только свое отражение.

— Пошли,— сказал Леониду.

Леонид оторопел, он думал, что буровой мастер станет спорить с ним, отговаривать, напомнит о технике безопасности, а тот почти безоговорчно пошел. «Видно, тоже думал об этом!»

Лопатин шел к буровой напрямик, по следам Нечаева, кряхтя, залез под буровую.

— Посвети,— сказал, вынув из кармана фонарик.

— Тут все нормально. Я глядел.

— Вижу.— Лопатин осмотрел узлы крепления, сгибаясь, почти пополз по шпалам, отсчитывая шесть метров.— Пожалуй, можно! Вот ребята отдохнут с часок, поужинают, и попробуем. Полетит, так не одна твоя голова, а с моей вместе. Готовь трактора и свет.

...Когда взмахом руки Леонид подал трактористам команду: приступить к движке! — показалось, что вместе с ревом и грохотом тракторов он услышал стук собственного сердца. На миг зажмурил глаза. Что-то тяжелое, грохоча, летело на землю, по рельсам заскрежетали колеса, и буровая, вздрогнув, стряхивая снег, медленно покатилась, гордо и торжественно неся на своих плечах многотонное оборудование. Никто не видел ее вершины — она купалась в снежном хороводе, как бы просила снежинки отодвинуться, посторониться. Зато каждый сантиметр рельсов, каждый поворот колес просматривался Леонидом.

Михаил Геннадьевич сидел на корточках, папироса во рту потухла и торчала в правом углу плотно сжатых губ. Он будто окаменел, был неподвижен до тех пор, пока громкий голос Леонида «Сто-о-о-о-о-о-о-п!» не разнесся по площадке.

Смолкли моторы тракторов, скрипя, слабели тросы, и, запинаясь о снег, буровики бежали в сторону Леонида Нечаева. Он не заметил, кто схватил его за руку, он только чувствовал, как сильные руки подбрасывают его вверх.

Снег сыплет в лицо, тает, и он не может понять, растаяла ли снежинка или, может, нечаянно выползла слеза? Но какая в том разница?

Во время подъема вышки все замерли, и только резкий, ухающий голос Пашки Боброва летел над строительной площадкой. Пашка, широко расставив ноги в меховых сапогах со стоптанным левым каблуком, кричал во все горло: «Впере-е-е-е-д!» Он смотрел за краном сосредоточенно — то приподнимался на цыпочки, вытягивал шею, то вдруг приседал, упираясь ладонями в согнутые колени, и, казалось, боялся моргнуть.

Стрела, натянутая тросами, медленно поднималась, очерчивала полукруг по хмурому небу.

По смуглому лицу Пашки катился пот, скапливался возле багровой полоски шрама, и он отпыхивался, сдувал мелкие росинки с губ.

Тарахтели, пятились трактора, натягивая лебедку, и головы у всех запрокидывались, будто выставляли напоказ небритые подбородки.

Стрела остановилась.

Пашка хлопнул в ладоши, вздохнул глубоко и сел прямо на снег. Он смотрел на вышку затуманенным взглядом. Никто к нему не подходил, ни о чем не спрашивал, и он был благодарен товарищам за эту молчаливую минуту, когда не нужны восторги и высокие слова, когда нужен миг тишины, когда надо переждать, успокоиться, взять себя в руки. Он знал: радость и восторг еще придут, они будут дороже спустя какое-то время, когда отдалится это мгновение на расстояние, схлынет напряжение и оживет душа, которая сейчас сжалась и замерла. Мало ли сколько будет еще причин, чтобы вернуться к этому мигу, а пока Пашка сидел на снегу, подставив лицо ветру, дующему с озера, откуда вроде бы тя-

нуло дымком. Помимо воли мысли унесли его в стойбище Пуйко. Прищурив глаза, он смотрел вдаль и вроде бы видел бегущие стада оленей. Он не слышал и не видел, как Алешка-водитель несколько раз объехал на вездеходе вокруг буровой, стараясь привлечь к себе внимание Пашки. Через размокшие брезентовые штаны просачивалась сырь, и нижнее белье, впитывая холодную влагу земли, обжигало тело. Отсыревшая от пота рубаха льнула к лопаткам, холодила подмышки.

— Вставай, Павел Маркович, застудишься,— сказал Хвыля, протягивая руку. Пашка без слов, как немощный, протянул Хвыле влажную ладонь. В ней не чувствовалось силы, и только особенно прохладными показались заскорузлые кругляшки мозолей возле каждого пальца.

— Если умру, то похороните меня здесь, на Пуйковской площади! — неожиданно даже для самого себя сказал Пашка, ощущая горьковатую тошноту во рту.

В первое мгновение Хвыля хмыкнул, пустился в разглагольствования, что вроде бы места здесь совсем глухие и человеку, пусть даже мертвому, будет лежать в этой земле одиноко. Он даже успел проговорить слова из песни: мол, на мою могилку тут никто не придет, только раннею весною соловей пропоет! Но Пашка, привстав на одно колено, вдруг пошатнулся, и Хвылю пронзили только что сказанные нелепые слова, обретшие теперь какой-то иной смысл. Он прижал Пашку к себе, испугавшись, как бы тот не упал, и, не соображая, что надо предпринять, лепетал отяжелевшим вдруг, непослушным языком:

— Ты это брось! Ты это кончай, друг! Я кому говорю: слышишь ты меня или нет, Павел Маркович? Ты такими словами не разбрасывайся, это тебе не шуточки.—

Хвыля стоял с минуту, не зная, в какую сторону шагнуть. Пашкино тело медленно сползало, и тяжелая голова горячим лбом упиралась ему в грудь, будто Пашка намеревался оттолкнуть его от себя.

— Пашка-а-а-а-а-а! — во все горло закричал Хвыля.— Ребята! Пашка-а-а!

Пашка слышал, как, хлопая по снегу сапогами, бежали ребята, узнал по нервному покашливанию Алешку-водителя, почувствовал сильные руки Юрия, охватившего ладонями его лицо и шептавшего:

— Ты что, Павел Маркович! Такое дело сотворили! Разве такие можно шуточки играть? Да ты открой глаза. Открой. Посмотри на вышку. Стоит она себе как миленькая!

Пашка чувствовал присутствие всех, но отяжелевшее, обмякшее, как сырая вата, тело не подчинялось его желанию подняться. Он пытался открыть глаза, вроде бы показать, что все это пустяк, что ополохнувший сознание обморок тут же пройдет, но, уже осознавая себя, стушевался, устыдился своей расслабленности и, собрав силы, непослушными, еще одеревеневшими губами проговорил:

— Оставьте, парни, меня. Дайте полежать спокойно.

Юрий нервными ладонями легонько похлопывал Пашку по розовеющим щекам, подавая товарищам знак, что все в порядке, что не надо показывать, как они испугались.

— Пошли, Павел Маркович. Пошли. Холодновато здесь. Ветер прямо в лицо.

— Поди, по рации сообщили. Вертолет вызвали? — не открывая глаз, облизывая воспаленно-сухие губы, спросил Пашка и, с легким стоном опираясь о руку Юрия, привстал.— Передали по рации?

— Да не успели. То ж было одно мгновение. Я даже заметил утку, которая будто

испугалась моего крику, остановилась в воздухе и вон все еще летит, из глаз не скрылась.

— Может, это другая утка,— уже ясно и внятно говорил Пашка, глубоко и редко вздыхая, будто прислушиваясь к тому, что творится у него внутри.

— Откуда другая? — забегая вперед, пытался улыбнуться Хвыля, яро поцарапывая подбородок и нещадно тряся бородой.— Это же подранок. Ты же сам знаешь — не улетел со всеми, кружит возле нас.

Разговор о птице был как раз кстати, и Пашка за это время успел перебороть вялую слабость, хотя в голове все еще шумело, будто к ушам приложили выводок голодных птенцов. В глазах у него все еще метались искры, а к ногам словно были привязаны тяжелые гири. Но, слегка пошатываясь, он сам шел к балку и даже несколько раз стукнул тупым носком сапога о деревянные ступеньки, отряхая налипший снег.

В рубленом балке вдоль стен стояли кровати с панцирными сетками, а так как во втором балке устроили столовую, пришлось кровати сделать двухъярусными: на спинки нижних приварили ножки верхних кроватей: дело это для сварщиков пустяковое. Посреди балка стояла железная печка, та самая, которую привез Еремей Пуйко. Вертолетом были завезены печи, но все решили, что печь Еремея аккуратнее, нагревает железные бока в считанные минуты и остывает, как только потухнут угли. В этом было главное достоинство Еремеевой печи, потому что парням, спавшим на верхотуре, с вечера было нестерпимо душно: согретые теплом сосновые бревна балка и влажный мох между ними в жаре млели, источая терпкоудушливый аромат соснового бора.

Пашка по праву старшего без всякого

жребия спал на нижней кровати, а остальные менялись через день.

Лежа на кровати, пригревшись под теплым ватным одеялом, Пашка мало-помалу приходил в себя, и мысли его в эти минуты были далеко-далеко, будто и приходило к нему это неловкое состояние, чтобы вернуться памятью к дням детства, для чего в этой суматошной жизни никогда не хватает времени. Он и ноги свернул калачиком, чтобы яснее припомнить полати, где часто сыпал на овчинном дедушкином полушубке без рукавов, из которых бабушка сшила ему теплые шубенки. Он любил лежать на этих деревянных полатях под потолком, где скапливались самые вкусные запахи, незаметно выползающие между кирпичами из большой русской печи, в которой варились мясные щи, пеклись румяные шаньги, топилось в глиняных крынках молоко с толстой жирной пенкой. Бабушка остужала пенку и подавала Пашке, если, конечно, в этот день он не приносил ей огорчений.

Была бабушка маленькая, тоненькая, всегда в белом головном платке, повязанном вокруг лица. Взбираясь вечером на печь, она притягивала к себе внука, ощупывала голову маленькими сухонькими ладошками, вздыхая, спрашивала:

— Кто опять ударил тебя? Или сам где трахнулся? Гляди-ка, какая на башке шишка.— И, сложив горячие сухие губы трубочкой, дула на синяк, ворчала, что-то тихонько наговаривала, словно мурлыкала над головой кошка, и он, прижавшись к ней, засыпал незаметно, легко, будто приподнимался и улетал к облакам до самого утра. Бабушка умела находить на его теле каждую царапинку, каждую цыпку на руках и ногах. Ему иногда казалось, что у нее на ладонях есть крохотные глазки. Часто ба-

бушка заставляла Пашку перед сном дыхнуть ей в лицо. Пашка набирал в себя воздух, приподнимал плечи и со всей силой дул.

— Простыл ведь,— ни с того ни с чего заключала она.— Жар у тебя внутрях.— Кряхтя, бабушка сползала с печки, ставила самовар. Пашка слышал, как раскаливалась черная согнутая нога трубы и начинал попискивать самовар, вскипая. Бабушка заваривала сушеную малину, прикрывала кружку блюдцем и снова лезла на печь, ставила чашку на приступку и, пока ждала, чтобы усохшая ягода разомлела в кипятке, отдала свой летний аромат, судачила: — Поди, в воде бродился или босиком по земле рыскал, а она еще обманчива, мерзлая. Думаешь, травка проклюнулась, так уж и тепло пошло? Не думай! Самая главная сырь и коварна. Поспи на ней с часок человек — и чахотка неминуемо пристанет или какая другая хворь, не приведи господи. Ох, Пашка ты, Пашка! И в кого ты этакий вертополох? Вьюн вьюном. Глаз да глаз за тобой надо. Этак будешь рыскать — голову враз свернешь. Опять, сказывают, седни на пожарную каланчу лазил, а?

— Лазил,— соглашался Пашка.

— И вьюнов ловить ходил?

— Ходил,— признавался он бабушке. Он почему-то млел на полатях и никак не мог ей соврать. То ли тепло размаривало его, то ли у нее был такой голос, на который нельзя было отвечать неправдой.

Но один вечер был для Пашки особенно памятным. Ваньша Мохнаткин принес в сарай кисет с самосадом и тоненькие аккуратно нарезанные листочки курительной бумаги. Он сел на бревно верхом, как садятся перед курением мужики, раздал каждому по листочку, а сам насыпал табак, прижал двумя указательными пальцами,

слюнявым языком провел по другому краю и склеил папироску.— Вот, значит, таким манером, мелюзга! — торжественно сказал Ваньша.— Если, конечно, хватит толку.

Пашка, может, и не стал бы скручивать папироску, если бы не последние Ваньшины слова. А тут дернул из рук Ваньши кисет.

— Ты, тоже мне, сопляк! От горшка два вершка, а все к большим парням вяжешься да ишо голос подаешь. Тибе не положено туто быть. Отвечай потом перед твоей бабкой Степанидой. Она за тебя все глаза выцарапает, не смотри, что у нее такие крохотные ручки.

Пашка знал, что Ваньша может очень даже просто вышвырнуть его из сарая за шиворот, и потому молчал. Папироску скручивал долго и неумело. Наконец папироска была готова, но когда Ваньша зажег спичку, Пашка начал дрожать, боялся, как бы он не промахнулся и по нечаянности не угодил ему в нос или щеку. Но все обошлось, и Пашка курнул. Дым попал в нос, Пашка закашлялся, стал выплевывать изо рта крошки табака.

— Малявка,— выпуская кольцами дым, говорил Ваньша, глядя на красноватый огонек папироски и легким щелчком стряхивая пепел. Но Пашке не хотелось сдаваться. Передохнув, он снова курнул, задохнулся, закашлялся и под смех парней выскочил из сарая. Потом долго полоскал рот холодной водой, тер зубы пальцами, ел в огороде морковь, грыз репу, жевал кончики лукового перышка, а вечером, как всегда притянув его голову к себе, бабушка ахнула.

— Курил? — спросила и, не дожидаясь признания, стала трепать его за ухо, приговаривая: — Варнак ты этакой. С этаких лет посмел всякую погань в рот толкать — по-

ганник ты сопливой! Кто это надоумел тебя, а? Ваньша? Это он, неслух, давно табачищем пыхтит, я на Мариевом месте ему давно бы горячим концом-то папироски в рот сунула. С кем курил? Или сам у кого табак стащил? Уворовал?

— Сам нарубил,— защитил Ваньшу Пашка, чувствуя, как полыхает жаром натеребленное бабушкой ухо.

«Бедная бабушка! Что бы ты теперь сделала со мной? Море слез пролила бы, если бы узнала, сколько перепил я водки и перекурил всякого зелья — досыта хватило бы на год всему селу! А если бы теперь дыхнуть на тебя — можно было бы наповал сбить всеми запахами, скопившимися во мне!» — улыбнувшись, подумал Пашка, ясно представив светлый и чистый образ бабушки.

Глава двадцать третья

Обустройство Пуйковской площади началось. Вертолеты прилетали к строителям, к дорожникам, к вышкомонтажникам. Завозили грузы, оборудование, стройматериалы. Прошло двадцать неописуемых по загруженности дней. С поднятием буровой вышки вроде бы преобразился весь облик Пуйковской площади. С земли это было не так заметно, как с воздуха, и потому каждый прилетающий вертолет делал по меньшей мере пять кругов облета, прежде чем летел на посадочную площадку.

Из прибывших в первый день вышкомонтажников еще никто не вылетел в Самозерье. Каждому казалось, что именно в его отсутствие произойдет что-то очень важное, главное, о чем он после будет жалеть, а если вдуматься, то каждый добровольно отказывался от элементарного отдыха

в общежитии, от тепла, горячего обеда в столовой с разными пирожками и компотами, от жаркой бани с березовым веником. «Еще немного, еще совсем немного — и все: буровая будет сдана и тогда можно спокойно и размеренно работать»,— думал Пашка.

Нет-нет да и обращались его мысли к Братцеву. Он представлял встречу, крепкое рукопожатие. Но и в этот момент вспыхивала обида, щемящая сердце, словно подкарауливала. «Ну что, если бы сфорснул? Подал заявление? — укорял он себя.— Где бы теперь был? В каких краях? С кем? Такого товарища потерял бы из-за своего гонора». Он имел в виду Юрия Перевалова, с которым так круто схлестнулся в первый его день.

Вскоре после отлета вертолета, который доставил все-таки газовую плиту, разыгралась вьюга. Ветер кружил, свистел над озером, засыпал ложбины и кочки, гнул кусты и голые ветки, по-особенному бушевал в перекрытиях буровой вышки, визжал и стонал, ударяясь о ее могучий корпус.

— Может, зря не улетел? — присаживаясь на край кровати Пашки, спросил Юрий.— Отдохнул бы день-два — и обратно.

— Хитрый ты,— усмехнулся Пашка.— Осталось-то три-четыре дня, и всему делу конец, а я не люблю, когда без меня мое дело доделывают. Всегда охота самому конец видеть.— Пашка говорил, краснея, бил кулаком в угол подушки, будто боялся, что она свалится на пол, и потому подталкивал.— Это ведь какое чудо сотворили! За двадцать дней вышку на новой площади подняли. Да голову даю на отсечение, что не бывало такого в министерстве. Не бывало! И хоть бы кто-нибудь мявкнул насчет рубля. Кто-нибудь нарочно проговорил. Все как проклятые в работе, и никто

не заикнулся. А все потому, что каждый захотел перешагнуть себя, а это разве можно измерить деньгами? Да к чертовой матери эти деньги. Когда я о них не думал — жил легко. А потом занесло...

Юрий сидел, упершись в спинку кровати, старался не смотреть ему в глаза, а видел только обветренные губы да посиневший шрам.

— Я ведь тебе от чистого сердца это говорю — хочешь верь, хочешь не верь. И вовсе не к тому, чтобы казаться перед тобой хорошеньким. Дерьма во мне полно. Ведь любое дело, как трясина, затягивает — что пьянство, что разгул, что распутство, что жадность, дай только волю, так понесет, оглянуться не успеешь, все тормоза сорвет. Каждому из нас всего отпущено понемногу. А я вот гляжу на тебя и дивлюсь: молодой, а откуда такой?

— Ты это брось, Павел Маркович! — вспыхнул Юрий. Не зная, чего ответить, присел на корточки возле Еремеевой печки, стал помешивать обгорелые березовые полешки.

— Говорю, пока нет никого, а вдруг да случая больше такого не выпадет. Больно уж ты красиво работаешь, как говорила моя бабушка,— руки у человека есть. Я долго не мог понять, почему она так говорит,— вроде бы все люди с руками, а она, как на какую работу посмотрит, бывало, скажет: руками сделано, а другой раз сморщится брезгливо, отвернется, скажет: безрукий делал. А на твою работу смотрю и сразу думаю: руками сделано!.. Ты с отцом рос? — приподнимаясь на локтях, неожиданно спросил Юрия.

— Ясно.

— Оно и видно: сразу так сноровисто делать, как ты, нелегко. А у тебя все ладно, как у старика: не суетишься, не ищешь,

как другие,— одно возьмут, другое потеряют.

Юрию и неловко было слушать, и ушел бы от этого разговора, но он понимал, что в Пашкиной душе происходит борение, что, говоря это, он вслух спорит с собой, ищет понимания.

— Чего молчишь? — снова ткнув кулаком угол подушки, поникше спросил он.— Молчишь, будто я какую ахинею несу. Я же тебе чистую правду говорю.— Пашка разразился глухим, нервным смешком, будто рассыпал многоточие.— Я и сам-то собственным ушам не верю, что говорю. Не привык, да вроде и некому было, а может, не видел, не приглядывался к людям. Все вроде перекосом жизнь шла, а последнее время дорогу прямее увидел. Да и Таисья у меня...

В это время распахнулась дверь, и Хвыля закричал с порога:

— Остынут же котлеты! Сколько времени ждать?

Ветер перекинул через порог снежинки, они тут же растаяли, превратившись на серых досках в темные пятнышки. Хвыля хмуро сопел. От насморка и чиха нос у него покраснел, возле левого крылышка обозначилась розоватая трещинка. Когда он чихал, то, морщась, прижимал ее указательным пальцем.

— Помажь нос-то постным маслом,— посоветовал Пашка.

— А то будто ничего не делаю,— возразил Хвыля.— Всяким жиром уже пробовал. Даже беличьим.

— Ну-ну! А то явишься на Самозерье, а нос отвалится. И прощай твой самый первый танец. Девчонки разборчивы,— опять хохотнул Пашка.

— Не болтай,— буркнул Хвыля.— Идите. Котлеты — вкуснятина, пальчики оближете.

Юрий нащупал в кармане полученное из дому письмо. Было безветренно, и он сразу пошел к озеру, разглядел корявые отцовские буквы, которые нельзя спутать ни с чьими. Он только пробежал глазами написанный на конверте адрес и удивился, как по нему смогли найти его на далекой Пуйковской площади: ведь и Самозерье-то отец перекрестил Самоозерьем и вышкомонтажное управление умудрился назвать вышкостроительным. Видно было, что адрес он писал по памяти, а не с конверта.

На улице разыгрывалась непогода, и нельзя было сказать, чего больше: ветра ли, снегопада ли. Круговерть запорошила землю, небо, даль, и только буровая вышка возвышалась, окутанная визгливо-монотонным гулом вьюги, заплутавшей в стальных перекрытиях.

— Что, перехитрили? — запахивая вокруг себя полы стеганой куртки, говорил Пашка.— Вот так-то! Знай наших. Повремени мы денек — кукарекали бы! А теперь мы чик-чирик — и все за недельку закончим. А на Самозерье по всем правилам обмывать будем! Это уж точно — по всем правилам! — Радость Пашки была по-детски неподдельной и трогательно-сентиментальной.— Вот теперь площадь так площадь! С главным опознавательным знаком. Можно и на карте рисовать. А без буровой вроде и название есть, а все не в счет — это как женщина в животе ребенка носит. Отец с матерью все думают, как назвать: можно так, можно и этак, а родится, назовут и точку поставят — Иван так Иван, Марья так Марья. Так и тут. Поставили буровую — навек память будет.

Юрий не узнавал Пашку, так не похож он был на того наглого человека...

— Красавица-то какая! — вздохнул он.— Черт их бей, поеду на эти вышкарские кур-

сы, привезу им корочки — пусть отстанут, все равно мне не уйти из вышкарей.— И самому себе было непонятно, почему все разговоры об учебе вызывали в нем раздражение и злость. «Так. Нечего делать. Все думал, новичков шапками закидаем, а они вон... стали сразу вровень, и сколько хочешь пускай пузыри, а все по их учености выходит».

Заглох электродвижок, в балке погас свет. Алешка-водитель, который сам вызвался содержать его в полном порядке, заметался туда-сюда горностаем, чиркал спички, отыскивая неисправность.

— Ладно, ложись,— сказал Костя-рыжий,— мечтать и в темноте можно.

— Позволь полюбопытствовать, о чем? — полусонно спросил Хвыля.

— ...Ну хотя бы о строительстве новой буровой,— Павел хохотнул, его смех подхватили со всех коек, и скоро весь балок содрогался от громкого, почти истерического хохота.

— Чего заржали? Во ненормальные. Чего я такого сказал? — попытался сквозь смех урезонить парней Костя.

— Это же надо! — выкрикивал кто-то, и опять с какой-то новой силой балок наполнялся смехом.

Неожиданно заработал движок, ярко вспыхнула под потолком лампочка, и, как по команде, все смолкли. Парни ерзали по постелям, обтирали воспаленные от смеха глаза кто кулаком, кто рукавом рубахи, и только Павел, уткнув лицо в подушку, никак не мог успокоиться. Нет-нет да широкие плечи снова вздрагивали, и подолгу тряслись на голове волосы.

Сконфуженный Костя молча залез под одеяло и закрылся с головой, чтобы ничего не слышать.

Свет снова погас.

Дрема подкрадывалась, осязаемо гладила невидимой рукой, кружила над лицом, смежая веки. Хвыля пробормотал что-то, сопротивляясь сну, и тут же чмокнул губами, всхрапнул и розно, с присвистом задышал.

В глухой, тугой тишине мелкие звенья панцирной сетки издавали скрипяще-шуршащие звуки, будто перешептывались между собой, прогибаясь под тяжестью тел. Юрий, в первые минуты юркнув под одеяло, притих. Охолодевшие в меховых сапогах ноги кажутся под одеялом чужими, прохладно-влажными, и только через некоторое время, когда тепло докатится до каждого пальца, кольнет мелкими булавочками в мягкие подушечки, они станут непринужденно, как у новорожденного, сгибаться в коленях. «Неужели еще вся ночь впереди? Все бока пролежать можно». Юрий шарил у изголовья, отыскивая рукой конверт, мысленно представляя дом с палисадником, дверь, обшитую старой кошмой, и высокий порог с мелкими зарубками от топора. Он вроде бы собрался перешагнуть через порог, но в это время над потолком ярко вспыхнула электролампочка, разразился грозно гудящим ревом электродвижок, и Юрий вздрогнул, открыл глаза. Вскочив с постели, как ошпаренный, Хвыля нечаянно наступил Лапке на лапу, и собака, визжа, поползла на животе под кровать, опасаясь, как бы кто не выгнал ее на улицу в сколоченную из досок конуру.

Юрий словно заново пролистывал письмо — запинался за слова, от которых стал отвыкать: то у Кольши забубенной головы в горнице повесили зеркало во всю стену, то у него самого все время стопорит сердце. Так мог писать только отец. Перечислив все материнские наказы, отец написал

слова прощания и пожелания сыну здоровья и добра. В стороне, сбоку письма, наискосок, сделал приписку, и, конечно, втайне от матери. «Я тут дело сварганил,— писал отец,— Маринку Журавлеву в тайности от матери сосватал. Если сердце твое имеет к ней притяжение — приезжай, если нет — дай в письме знать, напиши вроде бы такие слова: тут у нас белок располным-полно». Эти слова Юрий прочитал через зачеркнутую химическими чернилами строчку. Он вспомнил такие чернила на почте в черной пластмассовой коробке с двумя гнездышками для чернильниц-непроливашек и ручку с толстым пером. «Напиши: зима пришла лютая». Но и эти слова были замараны чернилами. По всей видимости, отец не мог придумать, как научить сына дать ему правильный намек. «Надо — приезжай! Нет — тяни до отпуска, хотя мать все время в военкомат посылает, велит тебя домой вытребовать, но я на ее шантаж не пойду. Это ты помни».

Юрий представил, как сидел отец на почте за столом, поглядывая на окно, не идет ли мать, от которой ему надо было хранить секрет до поры до времени.

— Может, хватит со светом-то? — говорил Хвыля, зевая.— В глаза шибко бьет.

— Выключай.

Щелкнул выключатель, свет колыхнулся, блеснул отражением в крохотном, запорошенном снегом окне, и только через окраек виднелся темный остов буровой вышки.

Юрию нестерпимо захотелось домой. Он испуганно спохватился, что так захлебнулся работой — азартно, до дрожи в руках варить и варить металлоконструкции, озаряя лицо яркими вспышками, искрами, пряча его в защитной маске, и радовался каждому новому шву сваренной секции. Но разве только у меня? И у ребят тоже. Все

работают так. Наверное, чтобы потом с особой, жадной остротой ощутить блаженство отдыха, когда придет желание держать в руках все: и работу, и мечту, и любовь — как птицу, когда она трепещет в руках, а тебе не хочется выпускать ее из ладоней, ощекотанных гладкими перышками. Хочется пригреть, успокоить трепетные толчки ее сердца. Юрий никогда раньше не ощущал биения собственного сердца, улыбался, когда отец говорил, что у него, у отца, оно временами булькает. Но тут, лежа на левом боку, ощутил ровные толчки. Сердце вроде бы щипнуло при мысли о Маринке Журавлевой. Мгновенно перед глазами проплыло ее лицо, и опять щипнуло под ложечкой. «Наваждение!» — уже не в силах сопротивляться думам, он открыл глаза, стал разглядывать темноту, но разве ему было под силу обманывать себя, не думать о том, что жило в душе и от чего душа теперь трепетала, как у пойманного голубя.

В квадратном проеме окна виднелся мутный свет. Нависший провод отделил наискосок часть рамы, постукивал о стекло — будто кто-то робко стучался.

Под кроватью во сне протяжно поскуливала Лапка, била хвостом, будто подметала пол, и чуть слышно пощелкивала зубами.

«Вот сдадим буровую на Пуйковской площади и на недельку отпрошусь домой,— подумал Юрий.— Отец зря не напишет».

В балке стало прохладно. Вьюга выдула тепло через щели неутепленных дверей и окон, через расщелины в полу. Юрий, обогретый воспоминаниями, отыскивал босыми ногами под одеялом на ватном матраце место потеплее, подтыкая под бока одеяло, чтобы не дуло. Еремеева печь стояла посреди балка остывшая, и надо было кому-нибудь подниматься и разжигать в ней сухие полешки.

Анисимкова М. К.

А67 Лицом к ветрам: Повесть.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984.— 224 с. с ил.

65 к. 15 000 экз.

Новая повесть тюменской писательницы — о вышкомонтажниках Тюменского Севера. Сильные, увлеченные парни осваивают пространства нефтяного края. В своеобразных условиях проверяются на прочность не только каждый отдельный человек, но коллектив в целом.

Издается в серии «Энергия мира».

А $\frac{4702010200-049}{М158(03)-84}$ 33-84 ББК 84Р7

ИБ № 1165

Маргарита Кузьминична
Анисимкова

Лицом к ветрам

Редактор Н. И. Трубникова
Художник серии А. В. Вохмин
Иллюстрации Е. А. Бортникова
Художественный редактор Г. И. Кетов
Технический редактор Т. В. Меньщикова
Корректоры М. А. Казанцева, Е. И. Ерина

Сдано в набор 9.11.83. Подписано а печать 13.03.84. НС 12083. Формат 75×90/32. Бумага типографская № 1. Гарнитура журнальная рубленая. Печать высокая. Усл. печ. л. 8,8. Усл. кр.-отт. 10,0. Уч.-изд. л. 9,3. Тираж 15 000. Заказ 598. Цена 65 коп.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49. Обложка отпечатана в производственном объединении «Полиграфист», 620151, Свердловск, Тургенева, 20.

BIB NIZHNEVARTOVSK

0982231060

65 коп.

Лицом к ветрам

— Думаем направить вас в бригаду старшего прораба Охапкова. На строительство экспериментальной буровой — во всяком новом деле нужны грамотные люди.

— С вышкостроением я мало знаком,— постарался опередить Братцева Юрий и заметил, как у начальника округлились глаза: он промолчал, будто не слышал ответа, и сел, положив обе руки на стол.

— Хорошего в той бригаде мало — сложная бригада,— заговорил Братцев после некоторого молчания.— Старший прораб Охапков молод. Ему требуется поддержка, быть может, не столько в строительстве, сколько морально. Строить вышки там есть кому. Один Бобров что стоит... Охапкову поддержка нужна.— Повторив слово «поддержка», Братцев посмотрел на Юрия, стараясь угадать: понял ли тот его главную мысль.— Вы кандидат в партию и недавно вернулись из армии. Не забыли еще порядок и воинскую дисциплину, а тут у нас народ разный.

— Хорошо,— ответил Юрий.

— Тогда — всего доброго.

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1984